ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ПОД РЕДАКЦИЕЙ ПРОФ. И. Д. ЕРМАКОВА

ВЫПУСК XIII

МЕЛАНИЯ КЛЕЙН
(MELANIE KLEIN, BERLIN)

РАЗВИТИЕ ОДНОГО РЕБЕНКА

Перевод д-ра В. А. БЕЛОУСОВА
Предисловие проф. И. Д. ЕРМАКОВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА.

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

Вып. I. **S. Freud.** Лекции по введению в психоанализ. Том I (второе изд.). Ц. 1 р. (распр.).
Вып. II. **S. Freud.** Лекции по введению в психоанализ. Том II. Ц. 1 р. 30 к. (распр.).
Вып. III. **S. Freud.** Основные психологические теории в психоанализе. Ц. 1 р. 25. к.
Вып. IV. **S. Freud.** Методика и техника психоанализа. Ц. 75 к.
Вып. V. „ „ **Jones, Hattinberg, Sadger.** Психоанализ и учение о характерах. Ц. 1 р.
Вып. VI. **S. Freud.** Тотем и табу. Ц. 1 р. 75 к.
Вып. VII. **Jung.** Психологические типы.
Вып. VIII. **S. Freud.** Очерки по психологии сексуальности. Ц. 1 р. 20 к.
Вып. XI. Психоанализ детского возраста. (Сборник)
Вып. XIII. **M. Klein.** Развитие одного ребенка.
Вып. XIV. **Ив. Ермаков.** Этюды по психологии творчества А. С. Пушкина. Ц. 1 р. 25 к.
Вып. XVI. **Ив. Ермаков.** Очерки по психологии творчества Н. В. Гоголя. Ц. 2 р. 25 к.
Вып. XVIII. **Green.** Психоанализ в школе.
Вып. XX. **Jones.** Неврозы и их лечение.

ГОТОВЯТСЯ И ПЕЧАТАЮТСЯ:

Вып. IX. **S. Freud.** Толкование сновидений.
Вып. X. „ „ Психоанализ слова и символика.
Вып. XII. **Ив. Ермаков.** Гипнотизм.
Вып. XV. **Ив. Ермаков.** Органичность и выразительность в картине.
Вып. XVII. **S. Freud.** Воспоминание детства Леонардо да Винчи.
Вып. XIX. **Hug Helmuth.** Психическая жизнь ребенка.
Вып. XXI. **Reik.** Проблема религии.
Вып. XXII. **S. Freud.** Градива.
Вып. XXIII. **S. Freud.** Психоанализ детских неврозов.
Вып. XXIV. **S. Freud.** Остроумие и его отношение к бессознательному.
Вып. XXV. **Mac Dougall.** Психология, как учение о поведении.
Вып. XXVI. **S. Freud.** Психология масс и анализ личности.
Вып. XXVII. **E. Bleuler.** Естественная история развития психики.
Вып. XXVIII. **Ив. Ермаков.** Анализ „Мертвых душ“ Гоголя.
Вып. XXIX. **H. Ingenieros.** Принципы биологической психологии.
Вып. XXX. Сборник работ Детского Дома „Международная Солидарность“ лаборатории Госуд. Психоаналитического Института.
Вып. XXXI. **Wilfrid Lay.** Бессознательное в душе ребенка (психоанализ и воспитание).
Вып. XXXII. **White.** Основы психиатрии.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
под редакцией профессора И. Д. ЕРМАКОВА
Вып. XIII

МЕЛАНИЯ КЛЕЙН
(MELANIE KLEIN, BERLIN)

РАЗВИТИЕ ОДНОГО РЕБЕНКА

Перевод д-ра В. А. БЕЛОУСОВА
Предисловие проф. И. Д. ЕРМАКОВА



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА

Тип. имени Володарского, аренд. „Красной Газетой", Ленинград, Фонтанка 57.

Гиз. № 7729. Ленинградский Гублит № 15331. Тираж 3000 экз.—6.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Небольшая книжка Мелании Клейн, „Развитие одного ребенка", заслуживает всяческого внимания, особенно в наше время, когда интерес к половому развитию и просвещению детей стоит у всех на очереди и разрешается, пока что, кустарным способом, по личному усмотрению того или другого. Чаще всего он принимает вид сентиментальных, умилительных рассуждений о жизни растений, о цветочках, о семечках, из которых вырастают растения. Такие рассказы и объяснения чрезвычайно удовлетворяют тех, кому приходится знакомить детей с подобными вещами, и не затрагивают их стыдливости, но сеют в детях недоверие, вызывают неудовлетворенность и отчуждают их от просветителей. И тогда то, чего не в силах сделать близкие ребенку взрослые, делают их товарищи или же случайные грубые, невежественные люди. Как выйти из этого затруднения?

С одной стороны неудовлетворенность ребенка в этой области направляет его интересы, его фантазии далеко от действительности (мучаясь над этими вопросами, ребенок отвлекает силы от такой деятельности, которая легко и хорошо могла бы его связать с действительностью), создает мечтательность, вызывает протест против неудовлетворяющей его действительности, с другой—многих взрослых удерживает страх перед этими интересами и настойчивыми требованиями детей; боятся испортить такими знаниями ребенка и опасаются, что ребенок может с дурными целями использовать новые знания.

Такое недоверие, непростое отношение к этим вопросам имеют более глубокие корни и более скверное влияние, чем серьезное, спокойное и откровенное объяснение. Такой страх перед сексуальным пробуждает и в ребенке гораздо раньше

чувство смущения и удовольствия, чем он сам бы до этого дошел в силу нормального своего развития.

Естественное желание и законное п р а в о ребенка знать все, по крайней мере, в том объеме, в котором он с м о ж е т понять, постоянно находит преграды в ложной стыдливости взрослого, не понимающего, что все это для ребенка просто и естественно. Я вспоминаю случай ребенка около трех лет, который, заинтересовавшись отверстием под хвостом игрушечного зайца, очень довольный своим открытием, спрашивал на все лады мать—„попка ли это"? И когда мать строго остановила его, говоря, что неприлично об этом спрашивать, мальчик с лукавой улыбкой спросил, — а про у х о прилично говорить?

К сожалению, не только обыватель, но и ученые исследователи детской психики как-то избегали вопросов, связанных с психологическими и физическими проявлениями полового развития детей, и до самого последнего времени (на что указывает Фрейд) мы не имеем трудов в этой области. В обширной работе о детских рисунках Кершенштейнер предлагает нам очищенные, исправленные, освобожденные от всего „неприличного" продукты детского творчества, точно так же, как наблюдатели и исследователи развития детей тщательно избегают всяких намеков, которые так или иначе затрагивают эту область половых интересов.

Если такие проявления мешают наблюдателю, и он считает их неудобными для помещения в свое исследование, то зато дети проявляют свои влечения совершенно свободно до тех пор, пока их не станут стыдить и запрещать говорить и изображать то, что естественно привлекает их интересы и с чем, как мы знаем, связаны психическое их развитие и рост.

При таких условиях нетрудно понять, как встречена была книга З. Фрейда, „Анализ фобии у пятилетнего мальчика"; в чем только ни упрекали и автора книги, и отца ребенка, систематически „р а з в р а щ а в ш е г о" его, требовали прекращения подобных ужасов и т. п. Недавно Ганс, теперь уже зрелый юноша, побывал у Фрейда — и что же оказалось: Ганс,— цветущий, жизнерадостный молодой человек — не предста-

вляет никаких психических уклонений. О том, что послужило темой книги (его фобия), он совершенно ничего не помнит.

Некоторые места в работе Клейн вызовут, может-быть, те же упреки и протесты у читателей, какие в свое время вызвала книга Фрейда, но вместо того, чтобы протестовать против книги, в которой описывается только то, что наблюдается у детей, читатель сделал бы лучше, если бы, завоевав доверие детей, лучше прислушался к их разговорам, узнал бы о тех фантазиях и интересах, о которых ему расскажут при этих условиях сами дети.

О том, как происходит половое развитие ребенка и о чем говорит книга Клейн, психоанализ может узнать двумя неодинаковыми способами: или путем непосредственного общения и изучения ребенка, или путем изучения таких воспоминаний у взрослого человека; оба пути имеют свои преимущества и недостатки, и если, казалось бы, проще всего изучать половое развитие непосредственно у детей, то тут нужна специальная подготовка, для этого нужна определенная проработка подхода к детям и к их половым проявлениям. Только тот, кто подходит к этим вопросам, как к нормальным и законным у ребенка, может надеяться кое-что увидеть и узнать, но если сам наблюдатель не в силах объективно подойти и наблюдать, если он несвободен от предубеждений, то он узнает только то, в чем был уверен до всякого наблюдения — „у детей в норме нет никаких сексуальных проявлений“ (!?!). При изучении того, что сообщает нам, восстановляя в памяти свое детство, взрослый, есть не мало опасностей и в искажении прошлого, и в соответствующей окраске его, и в привнесении в прошлое явлений и знаний из более позднего опыта, но и те и другие недостатки могут быть смягчены, если, как это и делает психоанализ, пользуются о б о и м и методами и коррегируют их наблюдениями, добытыми теми и другими способами.

Центр тяжести предлагаемой книги Клейн в тех наблюдениях, которые она сделала над ребенком, в том применении раннего анализа, который дал в ее случае такие блестящие результаты: мысли и положения Клейн о зависимости процесса развития ребенка от явления вытеснения и о возможности

способствовать развитию, устраняя явления задержки — основные в психоанализе и в прекрасном, ясном и богатом примерами труде Клейн, могут быть легко усвоены и поняты. С особенным удовлетворением встретят книжку Клейи те, кто хотел бы и еще не умеет ближе подвести детей к реальности и освободить их от сковывающих умственное развитие их представлений, оторванных от действительности, и затудняющих свободу и самостоятельность мышления (запрос о религии).

Психоанализ не претендует на создание новой педагогической школы; он может быть нам полезен как метод, знакомящий нас с теми явлениями, от которых болеет и не знает, как помочь этому, современная педагогика, так много сделавшая в других отношениях.

Ив. Ермаков.

ПОЛОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ОСЛАБЛЕНИЕ АВТОРИТЕТА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА[1]

ВВЕДЕНИЕ

Мысль о том, что детей необходимо знакомить с фактами половой жизни, идея сексуального просвещения ребенка завоевывает все большую и большую почву. Ребенку, переживающему период полового созревания, угрожает целый ряд очень реальных опасностей; незнакомство с фактами половой жизни только увеличивает эти опасности. Уберечь детей от этих опасностей составляет цель просветительной кампании, местами предпринимаемой даже в школах; такое обоснование этой идеи, ясное всем и каждому, встретило и больше всего сторонников, и наибольшее понимание. Однако, психоанализ и добытые с его помощью знания диктуют нам необходимость особого отношения к детям, начиная уже с самого нежного возраста: необходим такой способ воспитания, при котором половое просвещение, как таковое, окажется совершенно излишним, так как воспитание по такому способу подразумевает в себе также и половое просвещение совершеннейшее, приспособляющееся к ходу развития ребенка и находящееся в максимальном соответствии с природой. Психоаналитический опыт приводит нас неопровержимо к выводам, требующим, чтобы мы по возможности охраняли детей от слишком сильных вытеснений, а тем самым от заболеваний или неправильностей в развитии характера. Стремление бороться с очень реальными, respective заметными опасностями с помощью знаний, конечно, вполне обосновано, однако, психоанализ противопоставляет этому стремлению другое требование: требование предотвращения других опасностей, тоже весьма реальных, хотя и неза-

---

[1] Доклад, прочитанный в июле 1919 г. в Будапеште в Психоаналитическом Обществе.

метных. Опасности эти не считаются опасностями; однако, они гораздо более общи, более глубоки, чем опасности первого рода и, вследствие этого, заслуживают гораздо большего внимания. Результаты психоанализа в каждом отдельном случае приводят нас к периоду детства и указывают нам на вытеснения детской сексуальности, как на причины последующего заболевания или патологических элементов и задержек, существующих в большей или меньшей степени и у каждого нормального человека; эти результаты психоанализа с полной ясностью определяют тот путь, на который нам надлежит стать. Избавить ребенка от чрезмерных вытеснений мы сможем только в том случае, если освободим от покровов таинственности и опасности всю огромную сферу сексуальности. Прежде всего это нам необходимо сделать по отношению к нам самим. Эти покровы необходимо сбросить. Они сотканы лицемерной цивилизацией, построенной не на рациональном, а на аффективном основании. Если мы сделаем этот шаг в нашем познании, руководимые убеждением в истинности созданной с помощью психоанализа науки о душе, то дальше путь нетруден. Мы попросту приобщим ребенка к знанию сексуальных фактов, которые, утратив покровы, потеряют значительнейшую долю своей опасности; приобщать, однако, ребенка к этому знанию мы будем лишь в той мере, в какой этого потребует развитие его любознательности. Этим мы добьемся того, что дети не повторят нашей собственной судьбы: им не придется переживать вытеснения целого ряда желаний, мыслей и ощущений, не придется, поскольку вытеснение не удастся вполне, изживать эти желания и мысли, испытывая ложный стыд и нервные страдания. Предотвращая это вытеснение, избавляя от бремени ненужных страданий, мы одновременно положим основание для здоровья, душевного равновесия, развития характера в благоприятном направлении. Этот результат уже сам по себе кажется неизмеримо ценным; однако, мы можем надеяться выиграть еще больше. Воспитание, построенное на безусловной правдивости, дает еще больше для индивидуума и для развития всего человечества: есть еще один результат такого воспитания, не менее важный и значительный, это — определенное благоприятное влияние на развитие мышления.

Эта мысль, вытекающая из данных психоаналитического опыта и из теоретических учений, стала моим глубоким жизнен-

ным убеждением после того, как ясно и неопровержимо оправдалась на развитии ребенка, которому я имела возможность посвятить значительное количество времени.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАМНЕЗ

Речь идет о маленьком мальчике, по имени Фриц, сыне моих родственников, живущих в близком соседстве со мной. Это давало мне возможность непринужденного и длительного общения с ребенком. А так как мать следует всем моим указаниям, то я имею возможность оказывать на его воспитание серьезное влияние. Сейчас мальчику пять лет; ребенок он здоровый и крепкий, психически развивался нормально, но медленно. Говорить он начал только в возрасте двух лет, а связно выражаться стал только, когда ему было уже более трех с половиной лет. Однако и тут нельзя было отметить каких-либо заслуживающих внимания проявлений, которые у детей с предрасположением иногда появляются очень рано. Несмотря на это, вид и все существо его все-таки производили впечатление живого и толкового ребенка. Усвоение отдельных понятий шло очень медленно. Ему было уже больше четырех лет, когда он научился различать цвета, и почти четыре с половиной года, когда он вполне усвоил себе такие понятия, как „вчера, сегодня и завтра". В сфере практического и реального он определенно отставал по сравнению с другими детьми того же возраста. Он часто присутствовал при разных покупках, однако, судя по его вопросам, повидимому, не вполне понимал, почему люди, у которых много каких-нибудь вещей, не дарят эти вещи другим, и никак не удавалось заставить его понять, как следует, что при покупках надо платить, притом разные суммы, в зависимости от разной стоимости предметов.

Но память у него была исключительная. События, сравнительно очень отдаленные, он вспоминает во всех подробностях, а что касается усвоения понятий и явлений, то, если ему удается понять что-нибудь, как следует, это становится прочным и основательным приобретением. В общем он задавал немного вопросов. В возрасте приблизительно четырех с половиной лет его умственное развитие пошло несколько более быстрым темпом, появилось и больше всяких вопросов с его стороны. В это время и у него ярко проявилось то особое чувство, которое Фрейд (Freud) назвал „верой во всемогуще-

ство мысли“: Фриц стал высказывать полное убеждение, что он все знает и все умеет делать, о чем бы ни зашла речь; даже в тех случаях, когда ему доказывалось противоположное, когда в ответ на его вопросы папа и мама признавались ему, что и они далеко не все знают; все-таки, повидимому, его вера в то, что он и окружающие обладают всезнанием, оставалась непоколебимой. Исчерпав все свои аргументы, прижатый к стенке опровергающим доказательством, он объявлял: „Пусть мне покажут хоть один раз, как это делается, и я уже буду знать“. Так, несмотря на все опровержения, он казался совершенно убежденным в том, что он прекрасно может варить пищу, читать, писать и говорить по-французски.

НАЧАЛО ПЕРИОДА ВОПРОСОВ О РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ

Вопросы о рождении детей появились впервые в возрасте 4¾ лет. Пришлось невольно констатировать, что параллельно с этими вопросами заметно усилилось и вообще стремление расспрашивать, ставить вопросы.

Здесь я должна отметить, что на свои вопросы (с которыми он, по большей части, обращается к матери или ко мне) мальчик всегда получает вполне правдивые ответы, но по возможности в самой краткой форме; если это необходимо, то ответы обосновываются и научно, но, конечно, в соответствии с уровнем его понимания. Мы никогда не возвращаемся к вопросам, на которые уже дан ответ, и не заводим разговоров на какую-нибудь новую тему, если сам ребенок не наводит нас на это своими собственными вопросами.

„Где я был, когда я еще не был на свете“? [1]

[1] Эта формулировка вопроса вызвана тем, что Фриц неоднократно слышал от старших сестер и брата такую фразу: „Тогда тебя еще не было на свете“. Было это по разным поводам. Повидимому, она основывалась также и на том явно неприятном для него чувстве, что „он когда-то не существовал“—так как и тотчас же после полученных им разъяснений, и в дальнейшем он неоднократно высказывал большое удовлетворение, что он, значит, и раньше существовал на свете. Что этот интерес был, однако, не единственным мотивом, определявшим такую постановку вопроса, обнаружилось впоследствии. Вскоре после этого вопрос всплыл в измененном виде: „откуда берется человек“? Когда Фрицу было 4¼ года, он в течение некоторого времени нередко задавал другой вопрос. Он спрашивал: „Для чего надо иметь папу“? и (реже): „Для чего нужна мама“?—На этот вопрос, смысл которого остался тогда непонятым, был дан такой ответ: папа нужен для того, чтобы

Постоянное повторение этого вопроса вызвано не недостатком понимания, так как он, повидимому, вполне ясно понимал объяснения, данные ему о развитии, имеющем место в утробе матери (при этом, правда, мы не касались роли отца, так как он еще не задавал прямых вопросов, которые шли бы в этом направлении). Частое повторение вопросов определялось тем, что он испытывал чувство некоторого неудовольствия, какое-то ощущение неприемлемости, и боролся с ними из стремления к правде; за то, что это было именно так, говорило все его поведение: стоило ему начать разговор, как он делался рассеянным и несколько смущенным, было видно, что он стремится поскорее отделаться от этой, им же самим затронутой темы. После этого в течение некоторого времени он не спрашивал об этом ни мать, ни меня, а обратился со своими вопросами к лицам, пользовавшимся в его глазах, несомненно, гораздо меньшим авторитетом, а именно: к бонне (вскоре после этого покинувшей дом) и к старшему брату. Они сказали, что детей приносит аист, а создает людей господь-бог; ответы эти несколько успокоили его, однако, всего на несколько дней; когда он, вскоре после этого, снова приступил к матери с вопросом: „откуда берутся люди", он, наконец, повидимому, впервые почувствовал склонность отнестись к ее ответу более внимательно и принять его в качестве несомненной истины [1].

Он начал беседу с вопроса: „откуда берутся люди"? Мать повторила ему еще раз все то, что уже неоднократно говорила ему, после чего он на этот раз стал разговорчивее и рассказал, что „Fräulein" (бонна) сказала ему, что детей приносит аист (повидимому, он слышал об этом и раньше).—„Это

его любить, и для того, чтобы было кому заботиться о ребенке. Этот ответ явно не удовлетворил Фрица, и он еще несколько раз ставил тот же вопрос, пока постепенно он не отпал.

[1] В это время Фриц расстался и с рядом других представлений, о которых нередко шла речь в период, непосредственно предшествовавший началу вопросов о деторождении; этих представлений он, повидимому, тоже еще не успел до сих пор уяснить себе, как следует. Он даже вел своего рода борьбу за них; так, напр., он доказывал существование пасхального зайца ссылкой на то, что у соседских детей (его товарищей по играм) есть такой заяц, чорта же он видел сам на лугу издали,—и было гораздо легче убедить его в том, что пресловутый виденный им чорт был просто жеребенком, чем привить ему убеждение в безосновательности веры в чорта, как таковой.

только сказка",— возразила мать.—„Дети соседей говорят, что на пасхе не было никакого пасхального зайца (Osterhase), а подарки спрятала в сад Fräulein"[1].

„Это совершенно верно, они правы", — ответила мать. — „Значит, пасхального зайца не бывает, и это только сказка"?— „Конечно". — „И рождественского деда тоже не бывает"? — „Не бывает и его". — „А кто же приносит и ставит елку"? — „Родители". — „И ангелов тоже не бывает, это тоже только сказка"? — „Да, и это сказка, ангелов не бывает".

По окончании этого разговора он спросил после небольшой паузы: „послушай, мама, но слесаря-то бывают. Кто же иначе сделал ящик"? Это знание досталось ему, конечно, не легко.

Дня через два он сделал попытку переменить родителей и заявил, что в матери он избирает себе г-жу Л., а дети ее будут ему братьями и сестрами. Решение это он последовательно проводил весь день после обеда и до вечера, а вечером раскаялся и вернулся домой[2].

Между этим намерением переменить родителей и предшествовавшим ему разъяснением, с таким трудом воспринятым, была, оказывается, причинная связь; это выяснилось на следующий день, когда, поздоровавшись утром с матерью, он тотчас же спросил ее: „Мама, скажи, пожалуйста, как же ты сама появилась на свет"?

С этих пор он начинает с гораздо большим удовольствием углубляться в эту тему, продолжая возвращаться к ней. Он спрашивает, как происходит это у собак. Затем он рассказывает мне, что он недавно „заглянул в разбитое яйцо", но не видал там маленькой курицы. И ему, повидимому, очень нравится, когда я разъясняю ему разницу между цыплятами и ребенком и говорю, что ребенок до тех пор должен пробыть в тепле материнской утробы, пока не станет достаточно кре-

---

[1] Что касается пасхального зайца, то, повидимому, он окончательно разубедился в его существовании только после соответствующего заявления детей соседей (несмотря на то, что они нередко рассказывали ему небылицы); может-быть, и это тоже побудило его отнестись, наконец, более внимательно к тому ответу на вопрос: „откуда берутся люди", который он выслушивал, но не принимал, как следует, к сведению.

[2] Он уже пропадал однажды из дома: это было приблизительно два года назад, и цель, и причина остались неизвестны. Его нашли перед витриной часового магазина, где он внимательно разглядывал выставленные предметы.

пок для того, чтобы быть в состоянии развиваться вне ее. Затем он спрашивает: „А кто же кормит ребенка внутри матери“?

На следующий день он спросил меня: „Как это так. Как мы растем“? Я начинаю приводить разные примеры, указываю на маленького младенца у наших знакомых, привожу примеры разных степеней роста: его самого, его брата и папу; но он говорит: „Я знаю это, но как это вообще происходит, что люди растут“?

Вечером он был непослушен и получил за это выговор. Он огорчен этим и стремится помириться с матерью. Он говорит: „Завтра я буду слушаться, буду слушаться и еще раз завтра и еще раз завтра...“, затем умолкает внезапно, задумывается и спрашивает: „Мама, скажи, пожалуйста, как долго еще будет все снова и снова завтра“? Мать спрашивает, что́ он понимает под этим вопросом, он повторяет: „Сколько времени будет приходить все новый и новый день“? — и тут же добавляет: „Не правда-ли, мама, ночь ведь всегда относится к прошедшему дню, а рано утром опять наступает новый день“ [1].

Мать вышла зачем-то ненадолго и, возвратившись в комнату, застала его напевающим что-то про себя. Когда она вошла, он тотчас же перестал петь и спросил ее: „Не правда ли, если ты сейчас скажешь мне, что я не должен петь, то я не смею больше петь“? Тогда она объясняет ему, что ничего подобного она никогда бы не сказала, что он вообще может поступать по своему желанию, — за исключением тех случаев, когда он хочет того, чего нельзя, и всякое запрещение ею всегда чем-нибудь обосновано. Он заставляет пояснить себе это примерами и, видимо, вполне удовлетворен.

БЕСЕДА О СУЩЕСТВОВАНИИ БОГА

На следующий день шел дождь. Фриц жалеет об этом, так как ему хочется играть в саду, и спрашивает мать: „знает-ли господь-бог точно, сколько времени он будет проливать дождь“? Мать отвечает, что дождь проливает не гос-

---

[1] Понятие времени, с таким трудом им усвоенное, повидимому, приобрело теперь большую ясность. Он сказал однажды, уже после того, как начался период усиленных расспросов: „Вчера—это то, что было, сегодня — то, что есть; завтра — то, что будет“.

подь-бог, что дождь идет из туч, и дает ему соответствующее объяснение.

На другое утро Фриц встречает мать вопросом, которого он давно не задавал: „Как происходит человек“? Ей нужно знать, чего он собственно не понял в ее объяснении. „Как происходит рост“?—переспрашивает Фриц. Мать снова пытается разъяснить ему, как растет маленькая голова, маленькие конечности и т. д. Он возражает: „мама, милая, но как,— откуда появляется маленькая голова, маленький живот и все остальное“? Она говорит, что все это в чрезвычайно малом виде находится уже в яйце, как маленький цветок—в почке. Фриц прекращает расспросы. Несколько позже он задает вопрос: „Как делается табурет“?[1] Затем он спрашивает: „Значит, дождь проливает не бог? Тоня же сказала, что это делает бог“. Выслушав ответ, он говорит: „это значит только сказка, что бог заставляет итти дождь“. Мать отвечает утвердительно; он снова спрашивает: „но господь бог есть. Есть бог“? Она дает несколько уклончивый ответ, говоря, что она его никогда не видала.—„Его не видно, но он на небе высоко. Там он“.—„На небе только воздух и облака“,—отвечает мать.— „Но бог существует“?—опять спрашивает он. Она видит, что ей не вывернуться и, решившись, говорит: „нет, мое дитя, он не существует“.—„Мама, а если действительно взрослый человек будет говорить мне, что бог действительно есть и живет на небе,—значит, это неправда“?—Она отвечает, что и взрослые иногда плохо знают некоторые вещи и рассказывают о них неправильно. Тем временем, он, закончив завтракать, стоял у двери, ведущей в сад, и задумчиво смотрел туда. „Не правда ли, мама,—внезапно сказал он,—что́ есть, это я вижу,

[1] И в дальнейшем, в течение некоторого времени, он продолжает повторять этот вопрос по поводу всякого разговора о каком-нибудь с трудом дающемся его пониманию процессе развития или возникновения чего-либо „Как делается табурет“, вопрос этот, это выражение, повидимому, играет для него роль какого-то вспомогательного понятия. Когда он повторяет его, то он, правда, как бы ставит вопрос, однако, ответ на него ему прекрасно известен; ему даже больше не отвечают, а просто ссылаются на то, что он это уже знает. Повидимому, он пользуется этим вспомогательным выражением в качестве сравнения для определения реальности чего-либо, о чем он слышит впервые. Повидимому, в этом же смысле он употребляет и слово „есть“ которое постепенно начинает доминировать над выражением, „как делается табурет“; последнее совсем выходит из употребления.

и что́ можно видеть, то так и есть действительно. Я вижу солнце и сад,—дом же тети Мани я не могу видеть, а все-таки он существует“. Она объясняет ему, почему он не в состоянии видеть дома тети Мани. „Мама, а ты тоже не можешь видеть этого дома“? — Он видимо удовлетворен, услышав от нее отрицание этой возможности. Но тут же следуют дальнейшие вопросы: „мама, как солнце забралось так высоко“? Мать, подумав, ответила: „знаешь, оно там уже очень, очень давно; оно очень давно в таком положении“. И снова вопрос: „ну, а до того, перед тем, как оно попало туда наверх“?

Здесь я должна дать объяснение той несколько нерешительной позиции, которую заняла мать по отношению к ребенку в вопросе о боге. Мать — атеистка. Однако, несмотря на это, в воспитании старших детей она не проводила своего личного убеждения. Правда, воспитание, полученное детьми, абсолютно свободно от религии, и дома им почти не приходилось слышать о боге, — однако, вся окружающая среда подносила им его в готовом виде, и мать не считала возможным прямо отрицать его существование; о боге говорилось мало, однако, для детей он безусловно существовал, и мысль о нем входила в состав их основных понятий. Мать исходила при этом из того соображения, что идея бога, в настоящем, быть-может, даже отвечающая на какие-то более глубокие запросы детской души, в дальнейшем, в связи с умственным развитием личности и выработкой собственного миросозерцания, будет ими отвергнута или же включена в это мировоззрение, в соответствующей индивидуальным особенностям форме. Ее муж разделяет пантеистическое воззрение на бога, и включение понятия о боге в воспитание детей вполне соответствовало его взглядам; у родителей поэтому не было основного уговора об отношении к данному вопросу. Что касается старших братьев и сестер Фрица, то для них, как и для большинства малых детей, существование бога было чем-то настолько несомненным и само собой разумеющимся, что, конечно, пока они были поменьше, вопрос об обосновании этого понятия или о точке зрения родителей даже не возникал. Но вот совершенно неожиданно дело приняло такой оборот, что мальчик настойчиво потребовал от матери принципиального изложения ее личного взгляда и убеждения; и дать иной ответ, чем тот, которой она дала, было невозможно. Случайно вышло так,

что ей не удалось тотчас же поговорить с мужем о новом положении дела, так что, когда под вечер мальчик вдруг спросил отца: „папа, есть бог“?—тот прямо ответил ему: „да“. Но Фриц возразил: „а мама сказала, что бога нет“. В этот момент в комнату вошла мать, и он тотчас же обратился к ней: „мама, папа говорит, что есть бог, — скажи, есть бог или нет“. — Она, конечно, несколько смутилась и ответила: „я никогда не видала его и не думаю, что он существует“. Тут ей пришел на помощь муж и спас положение следующими словами: „видишь-ли, Фриц, бога никто не видел, и разные люди разно о нем думают; одни думают, что он существует, а другие полагают, что его нет. Я думаю, что есть бог, а мама думает, что его нет“. Фрицу, взгляд которого все это время довольно напряженно перебегал от отца к матери, это доставило большое удовольствие, и он объявил: „я тоже думаю, что бога нет“. Однако, после некоторой паузы у него, повидимому, возникли сомнения, и он спросил: „Послушай, мама, если бог есть, то он живет на небе“? Мать повторила, что на небе только воздух и облака, после чего он сказал опять совсем весело и уверенно: „Я тоже думаю, что бога нет“. И тут же добавил: „А вот трамваи есть наверно, — существует также и железная дорога,—я два раза ездил по ней: раз, когда я ездил к бабушке, а другой раз—в город Е.“.

Преимущество такого непредвиденного разрешения вопроса о боге, быть-может, состояло в том, что оно было способно несколько умерить чрезмерно большой авторитет родителей и ослабить представление об их непогрешимости и всезнании: до сих пор мальчик еще ни разу не замечал расхождения в мнениях между отцом и матерью по важному вопросу. Правда, это понижение авторитета, пожалуй, могло бы создать у Фрица чувство некоторой неуверенности; я полагаю, однако, что чувство это было-бы без труда преодолено, так как все-таки сохранившегося авторитета было более чем достаточно для того, чтобы ребенок мог на него опираться. Однако, от всего его поведения у меня совершенно не получилось впечатления, что подобная неуверенность создалась, или чтобы поколебалось его доверие по отношению к кому-нибудь из родителей. Приблизительно через две недели мы сделали небольшое наблюдение; возможно, что оно находится в связи с понижением авторитета. Фриц гулял со своей сестрой, и она поручила

ему узнать у кого-нибудь из прохожих, который час.— „У господина или у дамы“?—спросил он.—„Это все равно“,— ответила она.—„А что, если господин скажет: двенадцать часов, а дама скажет, что четверть второго“?—спросил он в раздумьи.

Дальнейшие шесть недель, последовавшие за этим разговором на тему о существовании бога, я считаю как бы завершением, высшей точкой целого периода. Я нахожу, что интеллектуальное развитие ребенка в этом периоде и после него сильно двинулось вперед и резко изменилось по сравнению с прошлым (как в смысле интенсивности, так и по направлению и способу своему); для меня ясно обозначаются целых три периода во всем его умственном развитии с той поры, как он начал связно говорить, и по настоящее время: период времени до начала вопросов о деторождении; второй, начинающийся с этих вопросов и кончающийся ликвидацией понятия о боге; и третий следующий период, только-что начавшийся.

ТРЕТИЙ ПЕРИОД

Страсть к вопросам, любознательность, развивавшаяся так сильно во втором периоде, с тех пор уже не ослабевала; однако, теперь она движется в несколько ином направлении. Правда, он и теперь довольно часто возвращается к теме о деторождении; однако видно, что знание уже прочно овладело его мыслями. Интерес к деторождению и ко всему, что с ним связано все еще велик, однако, несомненно, гораздо менее жгуч; проявляется это и в том, что он теперь не столько задает вопросы на эту тему, сколько констатирует факты. Так, например: „Неправда-ли, собака тоже появляется на свет таким же образом, она растет в своей маме“.—В другой раз: „А олень как появляется, так же, как человек“? — Получив утвердительный ответ: „Значит, он растет внутри своей мамы“.

Из вопроса: „откуда берется человек, как происходит человек“, который он перестает задавать в подобной форме, постепенно развиваются вопросы о происхождении (Werden) вообще. За эти недели он расспрашивал о возникновении всего того, что вырабатывается искуственно и растет в природе, поскольку оно доступно его зрению и пониманию. Из огромного количества вопросов, поставленных им в этом направлении, приведу следующие: „как у него растут зубы; как это так, что глаз остается внутри (в глазной впадине); каким образом возникают

на руке линии; как растут деревья, цветы, лес и т. п.; растет ли стебель с самого начала вместе с вишней; созревают ли в желудке незрелые вишни; можно ли посадить на другое место сорванный цветок; могут ли созревать незрелые, снятые раньше времени семена; как образуется источник; как возникают реки; как попадают в Дунай корабли; как образуется пыль“; кроме того, ряд вопросов о способе изготовления разнообразнейших предметов обихода, различных материалов, тканей и т. д., при чем, когда речь идет о каком-нибудь продукте производства, он редко спрашивает о том, как делается данный предмет, спрашивая обычно в общей форме, например: как делается стекло.

Появляются и более специализированные вопросы: „как получается, что человек может двигаться, двигать ногами, трогать что-нибудь; каким образом попадает в него кровь; как получается, что у человека есть кожа; как это так, что вообще бывает рост; как происходит, что человек может работать и делать что-нибудь“?

Появление этих специализированных вопросов, внимание, которое он им уделяет, и постоянное настойчивое желание посмотреть, как устроен тот или другой предмет, изучить его внутренний механизм (клозет, водопровод, трубы, револьвер),— любознательность эта, как мне кажется, указывает на возникновение потребности проследить до конца, углубить то, что его заинтересовало.

Возможно, что эта настойчивость и стремление углубить свое знание отчасти определяются и бессознательным любопытством к вопросу о роли отца в рождении ребенка; это любопытство еще ни разу не было выражено в форме прямого вопроса. Оно сказывается, как я полагаю, и на ряде других вопросов, которые одно время преобладали: они были направлены на выяснение различий между полами, хотя он и не формулировал этого сколько-нибудь определенно. Не раз повторялись следующие вопросы: всегда ли были девочками его мать, я и его сестра; всякая ли женщина бывает девочкой, пока она маленькая; не был ли он когда-нибудь девочкой; и дальше: был ли его папа мальчиком, когда он был маленьким; всегда ли отцы бывают мальчиками, пока они еще маленькие; каждый ли человек бывает сперва маленьким, и каждый ли папа сперва маленький. Когда вопрос о дето-

рождении был еще более актуален, он спросил однажды своего отца, вырос ли и он (отец) в своей маме; он сказал при этом: „в желудке своей мамы“, — и в дальнейшем повторял это в такой форме несколько раз, хотя ошибка всякий раз тут же исправлялась.

ИНТЕРЕС К МОЧЕ И СТУЛУ

К стулу, моче и ко всему, связанному с ними, он всегда относился любовно и с интересом; интерес этот и дальше оставался довольно оживленным; испытываемое им при этом удовольствие иногда дает о себе знать в совершенно неприкрытом виде. Он очень любит своего „виви“ (penis) и некоторое время называл его особым ласкательным именем, а именно „нунар“ или чаще „нуну“. [1]

Он взял как-то отцовскую трость и сказал отцу: „папа, посмотри, какой у меня большой и толстый виви“. — В течение некоторого времени он часто говорил о том, что у него „красивые, элегантные каки“, при чем он иногда уделял много внимания их форме, цвету и количеству.

Как-то он захворал, и ему поставили клизму (процедура для него довольно непривычная, которой он всякий раз оказывает большое сопротивление; лекарства он также принимает чрезвычайно неохотно, особенно же пилюли); он чрезвычайно удивился, почувствовав, что вместо плотного стула идет жидкость. Он спросил, не пойдут ли теперь каки спереди, или не вытекает ли сзади вода из виви. Когда ему объясняют, что это происходит сейчас так же, как и всегда, но только в жидком виде, он спрашивает: „а у девочек тоже так бывает, — у тебя тоже так“? [2]

В другой раз он вспоминает о процессах, происходящих в кишечнике, о которых мать рассказала ему по поводу клизмы, и спрашивает об отверстии, из которого выходят „каки“. При этом он рассказывает мне, что он недавно заглянул в это отверстие или хотел заглянуть. Как-то он спрашивает, всем ли

---

[1] В возрасте приблизительно трех лет у него появился особый интерес к украшениям, особенно к принадлежащим его матери (интерес этот стойко держится и до сих пор), и он неоднократно говорил: „когда я буду дамой, я буду носить сразу три брошки“. Он не раз говорил: „когда я буду мамой...“

[2] Ему шел третий год, когда он однажды увидал своего брата, который старше его на несколько лет, совершенно голым во время ванны; он радостно воскликнул: „у Карла тоже есть нуну“. Потом он сказал брату: „спроси пожалуйста, Лену, есть ли у нее нуну“.

требуется клозетная бумага? Затем следует такой вопрос: „мама, ты тоже делаешь „каки“?

Она отвечает утвердительно, а он добавляет: „неправда-ли, если бы у тебя не было „каки“, никто на свете не имел бы их“. В связи с этим он рассказывает о том, какого цвета и какой толщины „каки“ у собак, у других животных и сравнивает с ними свои собственные.

ЧУТЬЕ РЕАЛЬНОСТИ

Как уже упомянуто, о практическом чутье ребенка можно было отметить только чрезвычайно малое его развитие до периода вопросов о деторождении; в этом отношении наш мальчуган представлялся отсталым сравнительно с другими детьми его возраста; однако, с наступлением периода этих вопросов его практический смысл начинает сильно развиваться.

В борьбе с наклонностью к вытеснению он с трудом, но зато, повидимому, особенно живо усвоил себе разницу между видами понятий и понял, что одни из них реальны, другие же, в противовес первым, нереальны, после чего в нем обнаруживается потребность проверить в этом смысле все предметы.

С конца второго периода потребность эта проявляется, главным образом, в стремлении проверить реальность и обоснованность даже тех вещей, которые ему давным-давно знакомы, тех процессов, которые он постоянно наблюдает, которые всегда сам производит и прекрасно знает.

Таким образом, он самостоятельно устанавливает те или иные положения, из которых потом делает свои выводы.

ВОПРОСЫ О ТОМ, ЧТО САМО СОБОЙ РАЗУМЕЕТСЯ, И УСТАНОВКА СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ

Так, например, он ест кусок черствого хлеба и говорит: „хлеб очень черствый“. Съев хлеб, он добавляет: „я могу есть и очень черствый хлеб“.

Он спрашивает меня, как называется то, на чем в кухне варят (слово это он не мог вспомнить). Я говорю ему название, а он констатирует: не правда ли, это называется плита, потому что это — плита, меня зовут Фрицем, потому что я — Фриц. Тебя зовут тетей, потому что ты—тетя“.

За едой он плохо прожевал кусок и не мог поэтому проглотить его. Он продолжает есть и говорит: „потому оно не

прошло вниз, что я не прожевал". И тут же: „человек может есть, потому что он жует". После завтрака он рассказывает: „если я размешаю в чае сахар, то он попадает в желудок". „Это несомненно"?—задаю я ему вопрос. Он: „да, ведь он не остается в чашке, а попадает в рот".

Таким образом, ему удается установить и распознать целый ряд вещей, которые в дальнейшем, несомненно, служат ему критерием и материалом для сравнения при переработке новых встречающихся явлений и понятий. Его интеллект боролся, таким образом, с новым материалом, обрабатывал новые знания, применяя к ним критерий хорошо известных ему фактов и стремясь привлекать факты к сравнению друг с другом: все это привело его к новой проверке и регистрации приобретенных им уже понятий и к выработке новых.

„Есть", „не есть"—эти слова, которые он употреблял и прежде, теперь, благодаря новому способу их применения, приобретают совсем другой смысл.

Он узнает, что аист, пасхальный заяц и т. п.—только сказки; устанавливает, что рождение от матери не так, правда, красиво, но зато вполне правдоподобно и реально,—и вот заключение он говорит: „но слесаря-то существуют, иначе, кто же сделал ящик". Он освобождается от обязательства веровать в непонятное ему существо, невероятное, невидимое, всемогущее и всезнающее; и он тотчас же спрашивает: „не правда ли, то, что есть, это я вижу—и то, что видно, это, действительно, есть. Я вижу солнце, воду и т. д.". Теперь слова „есть" и „действительно" приобрели для него особое краеугольное значение, которое дает ему возможность строго отличать все видимое и фактическое—от того, что существует лишь в желаниях и в воображении, от того, что так прекрасно, но, к сожалению, не верно и не „действительно". В нем начинает пробивать себе дорогу „принцип реальности". [1]

В беседе с отцом и матерью о боге он примыкает к неверию матери: когда после этого разговора он говорит: „а вот трамваи существуют и железные дороги — тоже, так как я по ним ездил", то в этот момент в этих ощутимых, осязаемых предметах он находит предварительный масштаб, с помощью которого он начинает расценивать и те неопределенные

[1]) См. Фрейд, „Формулировка двух принципов психического становления"; см. III выпуск этой библиотеки.

и невероятные вещи, с которыми не мирится его стремление к истине. Сперва он расценивает их исключительно по сравнению с вещами осязаемыми и телесными,—потом он уже говорит: „я вижу солнце и сад,—но я не вижу дома тети Мани, а он все-таки существует"; это представляет дальнейший шаг на его пути: признак реальности принадлежит теперь не только тому, что можно видеть,—этот признак переносится теперь и на предметы, являющиеся объектами мысли: „действительность" таких предметов, существующих в его представлении, он признает только, если они, по всему его предшествовавшему умственному развитию, кажутся ему совершенно несомненно существующими: они тоже как бы осязательны,—значит, предметы тоже действительны. Но действительны они только в том случае, если знание о них фактически „приобретено" путем опыта; установив это положение, он вводит его в круг своего остального познания.

Итак, во втором периоде его чутье действительности получает сильный толчок и начинает развиваться; в третьем периоде это развитие идет столь же интенсивно, но принимает несколько иное направление: вследствие изобилия заново приобретенных положений, оно обращается к новой проверке прежних знаний и одновременно начинает развивать вновь установленные факты, превращая их в познания. Привожу в качестве иллюстрации некоторые вопросы и замечания из числа сделанных им за это время. Вскоре после беседы о боге он как-то, только-что проснувшись, сообщил матери, что одна из девочек соседей рассказала ему о виденном ею ребенке, сделанном из фарфора и умеющем ходить. Мать спросила его, как называется такой рассказ, и он, смеясь, ответил: „это сказка". Она приносит ему тут же завтрак, и он сейчас же устанавливает: „а завтрак—это нечто настоящее, и обед—тоже нечто настоящее". Ему запрещают есть вишни, так как они незрелые, и он спрашивает: „теперь ведь лето, не правда ли? А летом ведь вишни созревают"?—Днем говорилось о том, что он должен давать сдачу, если другие мальчуганы будут нападать на него. (Он был столь кроток и так мало агрессивен, что его брат счел необходимым дать ему такой совет). Вечером он задал такой вопрос: „мама, скажи, пожалуйста, если меня укусит собака, могу я укусить ее, дать ей сдачу"? За обедом его брат стал наливать себе воду, по-

ставил стакан на несколько загнутый край подноса так, что вода пролилась. Фриц говорит: „стакан не держится, как следует, на этой границе“ (всякий край, вообще, всякий конец он называет „границей“, например, и коленный сустав). „Мама, если бы я захотел поставить стакан на границу, то я захотел бы, чтобы он пролился, не правда ли“? У него есть сильнейшее желание, которое он неоднократно высказывает:— дело в том, что теперь стоит жара. Фриц гуляет в саду, и весь его костюм состоит из штанишек,—он хотел бы снять их и быть совсем голым. На его вопрос, почему он не должен этого делать, мать не находит другого основания и просто говорит ему, что только совсем маленькие дети ходят голыми, что и дети соседей—его товарищи—тоже не ходят голыми, так как это не принято делать. На это он говорит умоляющим тоном: „пожалуйста, позволь, я буду голый; тогда и товарищи (дети соседей) скажут, что я голый, и им тоже позволят это“.

Он обнаруживает не только понимание денежных расчетов, но начинает даже интересоваться ими [1].

Он неоднократно устанавливает, что люди получают деньги за свою работу и за то, что продается в лавках; папа за свою работу получает деньги, но должен платить за ту работу, которая другими делается для него. И он спрашивает мать, получает ли она деньги за работу, которую она исполняет дома (по хозяйству).

Как-то он опять попросил чего-то, чего в настоящее время достать нельзя, и, получив отказ, спросил: „а разве теперь война“? Когда в ответ на это ему объясняют, что товаров по прежнему еще очень мало, что они дороги и их трудно поэтому покупать, он спрашивает: „дорого, потому что мало“? Дальше он заставляет объяснить себе, какие вещи дешевы и какие дороги.—В другой раз он спрашивает: „не правда ли, когда дарят, то за это ничего не дают“?

[1] Сексуальное просвещение освободило его от задержек и дало ему возможность лучше осознать свои комплексы. Может-быть, это тоже сыграло известную роль в возникновении интереса к деньгам и понимания их значения. Правда, копрофилия и до сих пор проявлялась у него довольно неприкрыто, однако, все-таки надо полагать, что устанавливающаяся теперь общая тенденция к устранению вытеснений сказалась также и в области анальной эротики, создав здесь толчок для сублимации—в виде появления интерес к деньгам.

ПРАВА И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Затем, у него вполне определенно намечается потребность ясно представить себе границы своих прав и своей власти. Начало этому было положено еще в тот самый вечер, когда раздался его вопрос: „как долго будут приходить все новые и новые дни". Он справлялся тогда у своей матери, должен ли он перестать петь, если она запретит ему это. Он высказал тогда живейшее удовлетворение, выслушав ее слова о том, что она, по возможности, позволит ему делать все, что ему хочется, и постарался с помощью примеров уяснить себе, когда можно делать, что вздумается, и когда нельзя. Несколько дней спустя отец принес ему игрушку, отдал ему ее и сказал, что она будет его собственностью, если он будет пай-мальчиком. Он рассказал мне это и спросил: „никто не может отнять у меня то, что мне принадлежит? Ни мама, ни папа"? Когда я подтвердила это, он был очень доволен. В тот же день он спрашивает свою мать: „мама, ведь ты ничего не запрещаешь мне так, просто, без всякого основания" (при этом он пускает в ход приблизительно те же самые выражения, которыми в свое время воспользовалась мать, говоря с ним об этом).

Своей сестре он как-то заявил следующее: „я могу делать все, на что я способен, если это мне позволено". В другой раз он сказал мне так: „не правда ли, я могу делать все, что я хочу, лишь бы не быть скверным". А за столом он задал такой вопрос: „неужели мне никогда нельзя есть неаккуратно"? Ему сказали в утешение, что он уже достаточное число раз кушал неаккуратно; он ответил: „а теперь мне больше никогда уже нельзя так кушать"? [1] Нередко за игрой или по какому-либо другому поводу он так высказывается о чем-либо, что̀ он охотно делает: „не правда ли, я делаю это, потому что хочу". Итак, мы видим, что за эти недели он

[1] Он неоднократно предлагает своей сестре: „давай, пошалим, давай, поведем себя дурно", и обещает ей, что будет очень любить ее за это. Он с большим удовлетворением принимает к сведению, что и папа с мамой могут иногда сделать что-нибудь неправильно или нехорошо. Однажды он так выразился по подобному поводу: „и с мамой может случиться, что она что-нибудь потеряет".

вполне уяснил себе такие понятия, как „хочу“, „могу“, „смею“, „должен“. У него есть игрушка с особым механизмом: в небольшой клетке находится петух; если открыть дверцу, то петух выскакивает. Вот что он сказал об этой игрушке: „петух выскакивает, потому что он должен выскочить“. В тот же вечер заходит разговор о ловкости кошек, о том, что кошки могут влезать на крышу; он добавляет: „если она хочет“.

Увидев гуся, он спрашивает, может ли гусь бегать. И в этот момент гусь вдруг побежал. Фриц спрашивает: „он побежал потому, что я сказал об этом“? Когда ему говорят, что это не так, он добавляет: „потому, что он захотел“.

ЧУВСТВО ВСЕМОГУЩЕСТВА

Несколько месяцев тому назад у него резко проявлялось то особое „чувство всемогущества“, о котором речь шла выше. В дальнейшем это чувство начинает постепенно атрофироваться. Процесс этот начинается еще во втором периоде, а в последнее время делается особенно заметным; мне кажется, что отмирание этого чувства находится в теснейшей связи со значительным развитием у мальчика чутья действительности. Он начинает обнаруживать понимание того, что его силы и способности имеют границы; это проявляется по самым различным поводам; и к окружающим он относится уже иначе: перестает приписывать им те же безграничные силы и знания. Однако, происходит это очень постепенно: он задает вопросы и делает замечания, из которых видно, что идет борьба между развивающимся чувством реальности и пустившим глубокие корни чувством всемогущества, т.-е. между принципами реальности и наслаждения („Realitätsprinzip“, „Lustprinzip“). Эта борьба иногда приводит к компромиссам, но часто разрешается в пользу принципа наслаждения. Приведу несколько вопросов и замечаний, на основании которых мной сделаны эти заключения. Через день после беседы, в которой был ликвидирован пасхальный заяц и т. п., он осведомился у меня, каким способом родители устраивают елку, сделана ли елка из чего-нибудь искусственно, или она действительно выросла. Потом он спросил, не могут ли родители украсить к следующему рождеству целый лес елок и подарить их ему. И в тот же день он просит мать подарить ему местечко Б. (куда ему

предстояло поехать летом), чтобы оно уже теперь, не дожидаясь лета, находилось в его распоряжении. [1]

Как-то утром ему было сказано, что сегодня прохладно, и он поэтому должен потеплее одеться. Он же говорит потом брату: „на дворе холодно, значит, теперь зима. Теперь зима, а, значит, и рождество. Слушай, сегодня рождество. Сегодня сочельник. Мы будем есть шоколад и орехи с елки".

У него много разных желаний, осуществимых и неосуществимых; просьбы об их исполнении всегда чрезвычайно искренни и настойчивы. Он обнаруживает при этом много страстности и даже нетерпения, вообще, мало ему свойственных, так как ребенок он обычно очень спокойный и мало агрессивный. [2]

Так, например, услышав, что речь зашла об Америке, он говорит: „мама, я хочу посмотреть на Америку, но не тогда, когда я буду большой, сейчас, теперь же". Высказывая желания, в которых он заранее предполагает возможность отказа и утешения ссылки на исполнение в будущем, он тут же добавляет: „не тогда, когда буду большой, а теперь же, сейчас же". Еще недавно, когда так резко проявлялась его вера в свое всемогущество, он высказывал те или иные желания, повидимому, совершенно не различая между исполнимым и неисполнимым: теперь он говорит о своих желаниях, по большей части, уже в иной форме; видно, что начинается приспособление к действительным возможностям.

Просьбы таких подарков, как целый лес рождественских елок или местечко Б., представляли собой, быть-может, своего рода эксперимент; не забудем, что они были высказаны им на другой день после той беседы, которая принесла ему потерю целого ряда иллюзий (заяц, аист и т. п.), вместе с тем,

[1] В это же время он однажды обратился к матери, занятой на кухне с просьбой так сварить шпинат, чтобы из него получился картофель.

[2] Он обнаруживает большую нежность в своих любовных проявлениях, особенно по отношению к матери и по отношению к остальным из окружающих его людей; временами его ласки носят даже бурный характер, хотя он чаще нежен, нежели бурен. Правда, и в интенсивности его вопросов вот уже некоторое время стала заметна известная страстность. В возрасте, приблизительно, $1^3/_4$ лет несколько бурный характер носили также проявления его любви к отцу. В этот период времени он любил отца определенно больше, чем мать. За несколько месяцев до того, как это стало проявляться отец вернулся домой после продолжавшегося целый год отсутствия.

несомненно, сильно поколебав в нем представление о всемогуществе родителей. Просьбы эти, быть-может, имели целью выяснить, до каких пределов простираются казавшиеся до сих пор безграничными власть и сила родителей. Напротив, теперь, рассказывая, какие чудные вещи он привезет мне из Б., он всякий раз прибавляет: „если я смогу", или „что смогу", между тем как прежде он и обещания свои формулировал так же, как и желания, совершенно не отделяя возможного от невозможного (каких, каких подарков ни обещал он мне и другим в будущем, когда он будет большим). Если теперь заходит разговор о каких-нибудь неизвестных ему познаниях или технических навыках, о каком-нибудь ремесле (например, о переплетном деле), то он не говорит уже больше, что он все может и умеет, а просит позволить ему выучиться этому

Однако, мысль о собственном всемогуществе снова обнаруживается и заявляет о себе, как только какое-нибудь незначительное обстоятельство подействует на него в направлении, благоприятствующем этой идее. Так, например, он видит у своего товарища маленькую игрушечную машину, выучивается обращаться с ней и объявляет, что умеет обходиться с машинами, как инженер-механик; а признаваясь, что он не знает чего-нибудь, он часто добавляет тут же: „но буду знать, если мне хорошенько покажут". В таких случаях он часто должен удостовериться, что и папа тоже не знает этого. При этом явственно видна известная амбивалентная установка. В одних случаях его, повидимому, вполне удовлетворяет ответ, что и папа, и мама не знают чего-нибудь, в других же случаях он весьма неохотно принимает к сведению подобное сообщение и пытается опровергнуть его. Как-то он обратился к горничной с вопросом, все ли она знает; она ответила утвердительно. Потом она взяла свои слова обратно, но, несмотря на это, он некоторое время продолжал обращаться к ней все с тем же вопросом, при чем ему так хотелось заставить ее вернуться к ее прежнему утверждению, что он попытался даже повлиять на нее в этом смысле, сделав лестное замечание о ее большой ловкости, побуждающей его верить в ее „всезнание". Иной раз ему приходилось слышать, что есть вещи, которых папа и мама не умеют или не могут делать; однако, поверить в это было ему, повидимому, неприятно: в таких случаях он ссылался на слова горничной, уверяя, что она все знает (хотя

он в то же время несомненно был вполне убежден в том, что она знает гораздо меньше, чем его родители). Как-то, идя по улице, он попросил меня устроить так, чтобы можно было поглядеть на водопроводные трубы: ему-де хочется посмотреть эти трубы изнутри. Я ответила, что я не сумею сделать этого, а если бы и сумела, то потом не могла бы привести все в должный порядок. Он попытался опровергнуть это возражение и сказал: „а кто стал бы делать такие вещи, если бы на свете, кроме нас, никого не было?“. Однажды он рассказал матери, что поймал муху, и добавил: „я выучился ловить мух“. Мать спросила, каким образом он этому выучился.—„Я попробовал поймать муху, дело вышло, и теперь я умею ловить их“. А так как тут же он осведомился у матери, училась ли она „быть мамой“, то, мне кажется, мы не ошибемся, если допустим, что, говоря о мухах, он позволил себе—быть-может, не совсем сознательно—подшутить над матерью.

В этом отношении ребенка ко всезнанию родителей, конечно, играет роль все та же амбивалентная установка, об‘ясняющаяся тем, что мальчик, с одной стороны, мысленно ставит себя на место могущественного отца (надеясь занять когда-нибудь это место) и отождествляет себя с ним, а с другой стороны желал бы устранить отцовское могущество, фактически стесняющее его собственное „я“.

БОРЬБА МЕЖДУ ПРИНЦИПАМИ РЕАЛЬНОСТИ И НАСЛАЖДЕНИЯ

Чутье реального крепнет в ребенке и явным образом способствует разложению чувства всемогущества; однако, победа над этим чувством дается ребенку не легко: ему приходится делать над собой большие усилия, приходится бороться с определенным чувством неудовольствия, пересилить его в себе; из наблюдений этой борьбы у меня напрашивается вывод, что амбивалентная установка отчасти обусловлена именно борьбой между чувством реальности и чувством всемогущества. Принцип реальности берет верх в этой борьбе и приводит к неизбежному ограничению беспредельного ощущения собственного могущества; но параллельно с этим развивается потребность найти известное облегчение, примириться с этой мучительной необходимостью,—и это облегчение ребенок находит в сознании,

что и родители далеко не всемогущи. Таким образом и родительское всесилье подвергается ограничению.

В тех же случаях, когда победа на стороне принципа наслаждения, ребенок находит опору в авторитете родителей и в мысли об их совершенстве; эту опору он затем старательно оберегает. В этом, может-быть, надо видеть одну из причин того, что ребенок предпринимает попытки в двух направлениях: при каждом случае, который кажется ему подходящим, он пытается спасти, с одной стороны, веру в свое собственное могущество, с другой же, веру во всемогущество родителей.

И вот, когда, под влиянием возникшего чувства реальности, ребенок приступает к мучительной попытке отказа от мысли о собственном безграничном могуществе, у него в то же время явственно намечается потребность в точном определении границы власти как родительской, так и собственной.

Мне кажется, что в данном случае развитие шло следующим образом: влечение к знанию (более раннее, самостоятельное, сильнее развитое у ребенка, чем чувство реальности) дало толчок чувству реальности и повлекло его к преодолению наклонности к вытеснению и к установке новых, крайне важных для него истин. [1]

Истины эти, в частности, связанное с ними уменьшение авторитета, быть-может, оказали дальнейшее воздействие на развивающееся сознание принципа реальности и укрепили его в такой степени, что сделалась возможной дальнейшая успешная борьба за преодоление чувства всесилия, влиявшего на мышление ребенка и на его познание. Но на это разложение, вызывающее потребность в уменьшении представления о совершенстве родителей (что, конечно, влияет на установление границ могущества, родительского и собственного), оказывает опять-таки влияние уменьшение авторитета, так что между

---

[1] Надо предположить, что в процессе развития чувства реальности ребенок остановился на известной ступени веры во всемогущество [см. Ференци (Ferenczi): Ступени развития чувства реальности: Intern. Zeitschr. f. ärztliche Psychoanalyse, Jahrg. I, 1913].

Не подлежит сомнению, что на следующую ступень развития чувства действительности ребенок мог подняться только вследствие того, что в связи с сексуальным просвещением стало беспрепятственно проявляться его влечение к знанию. Это влечение дало возможность победить принцип наслаждения и дать перевес принципу реальности.

понижением авторитета и разложением чувства всемогущества существует взаимодействие, в смысле взаимного усиления.

Выясняется, что в нем сильно развит оптимизм; раньше он выступал очень резко, и теперь он дает себя знать по тому или иному поводу: конечно, оптимизм этот связан с чувством всемогущества, еще слишком мало расшатанным. Параллельно с работой над разложением чувства всемогущества, он и в отношении оптимизма сделал большие шаги вперед, значительно приспособившись к действительности; однако, оптимизм все-таки часто оказывается сильнее любой действительности. С особенной силой обнаружилось это, когда ему пришлось испытать очень мучительное разочарование, я думаю, самое сильное из пережитых им до сей поры. У него были добрые отношения с товарищами, с которыми он играл: теперь, в силу чисто внешних причин, отношения эти изменились; прежде они относились к нему с любовью и нежностью, теперь они коренным образом переменились. Их было большинство, они были старше его, и вот они стали всеми способами проявлять свое превосходство, издеваться над ним и обижать его. Будучи мало агрессивным и очень ласковым, он на первых порах не изменил своего отношения к ним и попытался вновь расположить их к себе просьбами и приветливостью; некоторое время он, повидимому, даже сам себе не хотел признаться в том, что они плохо с ним поступают. Так, например, не отрицая фактов, он все-таки был абсолютно несклонен согласиться с этими фактами, с тем, что товарищи обманывают его. И когда его брат доказал ему это и убеждал его перестать доверять им, Фриц умоляющим тоном ответил ему: „но, ведь, не всегда же они лгут". Однако, вскоре стали изредка раздаваться с его стороны жалобы, и, наконец, явилось признание того, что отношение к нему несправедливо. Появились, наконец, и агрессивные стремления, вполне определенные и не замаскированные (он заговорил о том, что он застрелит их из своего игрушечного револьвера, выстрелит им в глаза; в другой раз он сказал, когда они избили его, что он убьет их; в этих замечаниях и в целом ряде других и в играх он ясно обнаруживал, что желает их смерти), и все-таки он и теперь нисколько не прекратил попытки снова расположить их в свою пользу. Стоит им опять поиграть с ним, и он уже снова принимает такой вид, будто забыл все пережитое и считает, что все бла-

гополучно; однако, он вполне отдает себе отчет в том, что отношения изменились,—как об этом говорят затем разные случайные замечания. Одну из маленьких девочек, принадлежащую к компании его товарищей, он любит особенно нежно; вся эта история заставила его поэтому сильно страдать; однако, он не потерялся и выказал много спокойствия и оптимизма. Однажды он услышал разговор о смерти, стал спрашивать и, получив ответ, что каждый человек, состарившись, должен умереть, сказал матери: „значит, и я умру, и ты, и дети соседей—тоже. А потом мы снова появимся на свет, и они будут опять хорошими. Да, может быть, может быть...“

Вскоре после этого он нашел себе других товарищей-мальчиков; теперь, повидимому, история эта переболела, и он часто заявляет о том, что он больше не любит детей соседей.

После беседы о существовании бога Фриц очень редко касался этого вопроса, и то лишь мимоходом, а об ангелах, пасхальном зайце, рождественском деде и пр. и совсем не вспоминал; о чорте он вспомнил следующим образом: на вопрос его, что написано в словаре, сестра объяснила ему, что в словаре можно справиться обо всем, чего не знаешь. Тогда он спросил: „и про чорта там сказано“? На ее ответ: „да, и там сказано, что чорта не существует“, он ничего не возразил.

СМЕРТЬ

Повидимому, он построил особую самостоятельную теорию смерти; впервые об этом можно было догадаться в связи с его замечанием о детях соседей: „потом мы появимся опять“. В другой раз он говорит: „я хотел бы, чтобы у меня были крылья, и я мог летать. А что, у птиц бывают крылья, пока они еще мертвые? Ведь, пока не живешь, бываешь мертвым“? И в данном случае он не ждет никакого ответа и тотчас же переходит на другую тему. Он не раз еще после этого фантазировал о крыльях и об обладании ими. Но, когда в связи с этими фантазиями сестра рассказала ему об аэропланах, заменяющих человеку крылья, это не очень ему понравилось. Теперь его, повидимому, занимает, главным образом, тема о смерти. Он спрашивает отца, когда он (отец) умрет; горничной он тоже говорит, что ей придется умереть, но добавляет в утешение: „тогда, когда станешь совсем старая“. Вслед за этим он говорит мне, что когда он умрет, он будет

в состоянии двигаться только чрезвычайно медленно,—вот так (он делает небольшое и очень медленное движение указательным пальцем),—и добавляет, что и я, после моей смерти, тоже смогу передвигаться только таким образом.

В другой раз он спрашивает меня, совсем ли мы неподвижны, когда спим, и говорит по этому поводу: „не правда-ли, кто движется, а кто нет"? В какой-то книге он видит изображение Карла Великого и в ответ на свой вопрос узнает, что он уже давным-давно умер. Тут он спрашивает: „а если бы я был Карлом Великим, я тоже был бы столько времени уже умершим"? Он спрашивает также, умирает ли человек, если он долго не ест, и сколько времени нужно, чтобы человек умер от отсутствия пищи.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Сопоставляя этот случай с рядом других, относящихся к прежним наблюдениям, и выделяя в нем, в противовес остальным, интенсивное повышение умственной деятельности, в связи с притоком новых знаний о фактах половой жизни, я прихожу к целому ряду новых выводов.

Честность по отношению к ребенку и правдивые ответы на все его вопросы имеют краеугольное значение для его умственного развития; они действуют на это развитие очень благоприятно, создавая для ребенка возможность внутренней свободы; они предохраняют его от того вреда, который наносит мышлению наклонность к вытеснению. Вред этот сводится к следующему: известное количество энергии влечений („Triebkraft") связывается; часть этой энергии пропадает также и для сублимации; и вместе с вытесненными комплексами вытеснению подвергается целый ряд ассоциированных с ними представлений, в результате чего наносится ущерб последовательности мышления.

Вот что говорит по этому поводу Ференци (Ferenczi) в статье „Символическое изображение принципов реальности и наслаждения в мифе об Эдипе": [1]

„Культурное воспитание расы и индивидуума повело к тому, что эти стремления приобрели в высшей степени неприятный

[1] Image, I, 1913.

и мучительный для сознания оттенок, вследствие чего они подвергались вытеснению; однако, этим дело не ограничивается, и вместе с ними вытесняется огромное количество связанных с этими комплексами представлений и стремлений, которые, таким образом, оказываются выключенными из свободного взаимодействия мыслей или, по меньшей мере, не допускают строго объективного и научного отношения к себе.“

Рассматривая это главное поражение мышления—выключение ассоциаций из свободного взаимодействия представлений,—мне кажется, следовало бы принимать в расчет и самый характер этого поражения,—те, так сказать, измерения, по которым оно затрагивает мышление, определенно влияя на него в смысле придания ему известного направления, например, развивая его в ширину или глубину. Каково будет отношение сознания к тем или иным понятиям в эту пору пробуждения интеллекта, будут ли понятия эти восприняты, или, наоборот, отвергнуты, как неприемлемые для сознания,—все это, может-быть, находится в зависимости от характера поражения, вызывающего этот процесс (прототипичный для всей дальнейшей жизни). Поражение это, может-быть, развивается так, что возможны до известной степени изолированные повреждения таких функций, как „проникновение в глубину“ или „количественность“ мышления (характерную для измерения ширины). [1]

И в том, и в другом случае результатом не является изменение направления: энергия, изъятая из действия в одном определенном направлении, не устремляется по другому. Она остается фактически связанной, как и при всякой эволюции, обусловленной слишком сильным вытеснением.

Это первое поражение мышления, в то же время самое важное и значительное. Поражается ли мышление в своем целом, или в одном лишь измерении,—поражение это обусловливается несомненно чрезмерным, избыточным вытеснением, отягощающим личность („я“); главным же образом, это вытеснение вызывается тем отношением ко всему сексуальному и примитивному, при котором тщательно скрывается все связанное

[1] В вышедшей в 1902 г. книжке д-ра Отто Гросса (Otto Gross: „Вторичная церебральная функция“) различается два типа неполноценности: тип „уплощения“ сознания и тип его „сужения“. Развитие этих типов сводится автором на „типические конституциональные изменения вторичной функции“.

с этими вопросами, при чем пускаются в ход и ложь, и лицемерие, и скрытность. Таково следствие вытеснения, которому подвергается в данном случае область, связанная с искреннейшими желаниями, влечениями и интересами; та, следовательно, область, на явлениях которой учится созидать и координировать понятия пробуждающийся интеллект; одновременно с урезыванием этой сферы интересов уродуется молодой интеллект. И вот, когда подобное утаивание и скрывание оттесняют естественное стремление добраться до смысла явлений и фактов, существование которых бессознательно чувствуется, то одновременно подвергаются вытеснению также и те вопросы, которые направлены вглубь (так как ребенок начинает бессознательно бояться, что, ставя такие вопросы, он может наткнуться на что-нибудь запрещенное или грешное), — но кроме того, одновременно в корне подрезается и самая потребность следить за более глубокими вопросами. Таким образом, быть-может, возникает робость перед исследованиями глубинных проблем, как таковых („Tiefenforschung“), создаются условия для такого пути развития, когда, вследствие врожденной склонности к вопросам, склонности, которую человек не в силах подавить в себе, его потребность ставить вопросы начинает скользить исключительно по поверхности, превращается в поверхностное любопытство. Или развивается тип (встречающийся так часто в жизни, вообще, и среди людей науки, в частности) одаренного человека, богатого идеями, но неспособного к более глубокой их разработке. Сюда же относится еще один тип: тип умного, практичного, приспособляющегося человека, у которого много чутья по отношению к поверхностной действительности, но который слеп по отношению к действительности более глубокой, который не способен мысленно отличать действительные факты от авторитарного их понимания; он боится признать, что навязываемые авторитетом понятия в действительности ложны; он боится свободно признать существование вещей запрещенных и отвергнутых; все это приводит его к страху перед глубокими сомнениями, к опасению и страху перед всякой глубиной вообще. В подобных случаях, одним из факторов развития могло, мне кажется, явиться поражение самого влечения к знанию („Wisstrieb“), а тем самым и развития чувства действительности, вследствие вытеснения в направлении глубины.

Могут, однако, создаться и такие условия, в результате которых у человека в дальнейшем наблюдается недостаток интересов: в этих случаях влечение к знанию поражено вытеснением, быть-может, таким образом, что, вследствие опасливого отношения к запретному и секретному, подрезается в корне не только непринужденное отношение к этим запрещенным предметам и охота о них расспрашивать, но и охота задавать вопросы вообще, т.-е. исчезает исследовательский порыв, как таковой (количественная сторона влечения к исследованию).

Если ребенок, переживший известный период, в котором его стремление к знанию подавлялось, в дальнейшем преодолевает эти задержки, и влечение к знанию остается или вновь становится живым, то он может всю активность своей остальной еще не связанной энергии обратить на глубокую разработку немногих проблем, так как в нем все-таки остается боязнь затрагивания новых вопросов. Так, можно представить себе возникновение исследователей того типа, которые, заинтересовавшись одним вопросом, могут посвятить ему работу всей жизни, не испытывая интересов за пределами своей ограниченной области.

Другой тип ученых, это — те исследователи, которые проникают в глубину и обнаруживают, что познание реального им не под силу; они находят, таким образом, новые и важные истины, но они абсолютно непрактичны, пасуя перед крупными и мелкими реальностями повседневной жизни.

Этого нельзя объяснить только тем, что, занимаясь большими задачами, они не уделяют внимания задачам маленьким. Как это установлено Фрейдом, при исследовании ошибок и промахов, отвлечению внимания можно придать только значение привходящего фактора, не более. Оно не имеет значения по сравнению с основной причиной, обусловливающей ошибку или промах; оно может иметь, самое большее, значение благоприятствующего момента. Мы вполне допускаем справедливость того, что у мыслителя, занятого крупными обследованиями, не остается досуга, чтобы интересоваться делами повседневности; но дело в том, что этот мыслитель теряется и не справляется с этими фактами даже в тех случаях, где он просто в силу железной необходимости невольно интересуется ими, не будучи, однако, в силах ориентироваться

в них практически. Я думаю, что причина того, что он стал именно таким, может быть усмотрена в следующем: я предполагаю, что в детстве такого человека был период, когда ему надлежало в первую голову освоиться с реальностью, с вещами и понятиями совершенно простыми, осязаемыми и повседневными, но что в периоде этом произошло нечто, что помешало ему ознакомиться с ними; на этой ступени развития это могло быть, конечно, только вытеснением, а не абсорбцией внимания, вследствие недостатка интереса к предметам простым и близким. И вот можно предположить, что ему в свое время пришлось натолкнуться на препятствия в деле познания другого рода предметов, о существовании каковых он догадывался, но предметов запрещенных, примитивных: а в результате произошло то, что это заторможение и вытеснение распространилось и на познании явлений повседневной жизни, явлений первоначальных, ощутимых и конкретных. В конечном итоге этой эволюции ему остается исключительно путь в глубину,—все равно, устремится ли он на него сразу, или только после преодоления известного периода заторможенности; он сторонится широты, поверхности, в соответствии с создавшейся в детстве прототипической установкой. Благодаря этому, он не проделал и не изучил одного определенного пути, который в силу этого стал для него навсегда непроходимым; и позже он не сумеет просто и естественно двигаться по этому пути, как это вполне возможно было бы и без особого интереса, если бы путь этот с давних пор был ему близок, если бы он чувствовал себя на нем, как дома. В том-то и дело, что он перескочил через эту ступень: она оказалась вытесненной. И наш мыслитель этого типа отличается от человека „только практического" тем, что последний мог овладеть только одной этой ступенью, доступ же к другим, ведущим вглубь, оказался у него вытесненным.

Нередко случается, что в детстве (по большей части, до начала периода латентности) люди обнаруживают исключительные умственные способности и, повидимому, подают большие надежды; в дальнейшем же отстают и в зрелом возрасте становятся людьми, правда, вполне толковыми, однако, интеллект их ничуть не выше среднего уровня. В чем причины этого неразвития? В числе причин, может-быть, сыграло свою роль большее или меньшее поражение мышления в том или другом измерении. За это говорит следующее: как много детей,

которые утомляют своих близких бесконечными расспросами, непрестанным стремлением к исследованию во всем причин и следствий, а потом, по истечении некоторого времени, дети эти сдают и, в конце концов, обнаруживают или сужение интересов, или же поверхность мышления. Их мышление (пораженное или в целом, или же в одном из измерений) не смогло распространиться во все стороны, вследствие чего оно оказалось задержанным в развитии и не приобрело той духовной значительности, на которую позволяло рассчитывать в детстве.

Важнейший момент, наносящий вред и ущерб инстинктивной пытливости и чувству реальности, это, конечно, запрещение, замалчивание и отрицание всего сексуального и примитивного. Момент этот дает определенный эффект—вытеснение, действуя с помощью разного рода рогаток, запретов и тормозов; но, кроме того, есть еще одна чрезвычайно важная опасность, угрожающая пытливости и чутью действительности: опасность эта в навязанных, как бы предписанных сверху взглядах, и понятиях; эти готовые взгляды, эти готовые представления преподносятся к тому же в таком виде, что в результате получается крайне длительное и неблагоприятное влияние на способность знакомства с действительностью: человек не решается выступить против этих взглядов; он даже не пытается строить какие-либо выводы на основании тех фактов, с которыми сталкивается.

Родители—вот первый, могущественный авторитет, с которым имеет дело интеллект ребенка. В эту пору жизни беспомощный ребенок чувствует потребность в авторитете, и родители представляются ему обладающими абсолютной властью и мощью. Ребенок может безусловно подчиниться родительскому авторитету, может бороться с ним, но может также развиваться, испытывая минимум препятствий и воздействий со стороны этого авторитета; отношение ребенка к авторитету родителей определяет в дальнейшей жизни характер его отношения ко всякому авторитету вообще. Поэтому велико значение начального воспитания в смысле характера применения власти и авторитета родителей: результатом того или иного метода явится не только большая или меньшая степень послушания, отсутствия противоречий и критики, но и соответственный, остающийся на всю жизнь склад умственного развития.

Если результаты какого-нибудь научного исследования являются свободными от всяких предвзятостей, если они порывают с традициями и авторитетом, то принято говорить о „смелости“ мысли, о „мужестве“ исследователя. Однако, получение тех же результатов не потребовало бы от мыслителя такого огромного мужества, если бы в детстве ему не была нужна совершенно исключительная смелость для того, чтобы, вопреки всем авторитетам, самостоятельно продумать щекотливые темы, частью замалчиваемые и отрицаемые высшим авторитетом, частью же попросту запрещаемые.

Нередко говорят, что силы, потребные для преодоления препятствий и сопротивления, в борьбе с ними только растут, развиваются и закаляются; это справедливо во многих случаях, но это совершенно неприменимо к развитию ума и души ребенка. Развитие в постоянной оппозиции (кому-нибудь или чему-либо) не означает большей свободы, чем безусловное подчинение авторитету: истинная духовная независимость движется и развивается между этими двумя полюсами. Что же касается сопротивления, которое может быть полезным, которое, не угрожая самостоятельности личности и независимости ее развития, в то же время возбуждает энергию и прилив сил, нужных для его преодоления,—то сопротивлений этого рода более чем достаточно уже в той борьбе, которую развивающемуся чувству реальности приходится вести с традиционной наклонностью к вытеснению. Борьба эта составляет процесс труда и усилий, в котором личности (подобно завоеваниям науки и культуры в истории человечества) дается всякое завоевываемое ею знание. А сколько, в довершение всего, сопротивлений этого рода, сопротивлений совершенно неизбежных в самой внешней, окружающей обстановке? Все остальное, что должен преодолевать ребенок, кроме этих естественных препятствий,—в форме ли оппозиции, в форме ли подчинения,— всякое создаваемое для него искусственно препятствие, по меньшей мере, совершенно излишне и ненужно, большей частью прямо вредно, так как оно будет в дальнейшем играть роль тормоза или рогатки. [1]

[1] Не подлежит сомнению, что всякое воспитание, даже и весьма разумное, всегда будет вызывать в известной степени подчинение и сопротивление, и также несомненна неизбежность большего или меньшего количества вытеснений, в некоторой мере совершенно необходимых для культурного разви-

Правда, приходится нередко наблюдать, как, на ряду с явственными задержками, в личности уживаются высокие духовные дарования, но все-таки дарования эти не остаются без влияния тех вредных мешающих моментов, которые существовали во время их зарождения. А сколько в духовном капитале личности является только по видимости ее собственным достоянием, как много приобретено ею чисто - догматическим, чисто-теоретическим, опирающимся на авторитеты путем, а не путем свободной мысли, мысли беспрепятственно идущей до конца! Взрослый человек, опираясь на свой опыт и знания, конечно, в конце концов, находит разрешение некоторой части тех вопросов, которые в детстве считались запрещенными, казались неразрешимыми и вследствие этого были осуждены на вытеснение, но это все-таки ничуть не умаляет значения рогаток, поставленных в свое время на пути мысли ребенка, не уничтожает факта их существования. Если взрослый человек, повидимому, как-будто в состоянии удалить те или иные из поставленных в детстве перед его мыслью рогаток и ограничений, то все-таки то, что является основным препятствием для его интеллекта, та манера, с которой он упорно набрасывается на препятствия или же боязливо обходит, самое основное направление мысли и способа мыслить,—все это остается непоколебленным в дальнейшем. И в фасаде здания мысли, который кажется таким стройным и органически расчлененным, обнаруживаются трещины и зияющие расщелины. Может-быть, уместно для сравнения вспомнить учение Фрейда об отношении между явным содержанием сна и его латентным содержанием: та часть работы сновидения, которая делается для сознательной сферы и которая строит сновидение в расчете на его понятность,—эта часть работает с помощью рационализации и искусственно составляет необоснованные ассоциации, иногда кажущиеся вполне правдоподобными.

Первый и самый значительный авторитет, с которым человек сталкивается в жизни, это—авторитет родителей; и отношения между родителями и маленьким ребенком особенно важны, потому что здесь закладывается основа постоянного

тия и воспитания. Но воспитание, основывающееся на психоаналитическом знании, сумеет ограничить вытеснение необходимым минимумом, будет в состоянии избегать вредной, тормозящей развитие перегрузки психического организма.

подчинения принципу авторитета, постоянной более или менее сильной или слабой духовной несамостоятельности и ограниченности. Это влияние усиливается и поддерживается тем большим количеством этических и моральных понятий, которые, будучи преподнесены ребенку в готовом виде, превращаются в такое же огромное количество всякого рода ограничений для его свободной мысли. И все-таки—сколь ни неопровержимыми представляются эти понятия—детский интеллект, если он более высокого качества и менее поврежден в своей резистентности, все же довольно часто в состоянии предпринять против них в большей или меньшей степени борьбу. Дело в том, что все эти разнообразные понятия и правила, хорошо защищенные уже самим авторитетным способом их введения в жизнь, все же время-от-времени должны выдерживать известные испытания; и вот, в подобных случаях более наблюдательный ребенок подметит, что далеко не все предъявляемые ему требования взрослых, подкрепленные ссылками на то, что это хорошо, верно, прекрасно или само собой разумеется,—что далеко не всегда это хорошее, верное и прекрасное выполняется самими взрослыми. Для более сильной критики все эти понятия имеют слабые места, могущие подвергнуться нападению, по меньшей мере, в форме сомнений.

Но вот как только эти фундаментальные прежние задержки в большей или меньшей степени преодолены, перед мышлением вырастает новая и тяжелая опасность: вводятся сверхестественные, не подлежащие контролю понятия. Идея невидимого, всемогущего и всезнающего бога для ребенка является представлением совершенно исключительной подчиняющей силы; это тем более так, что есть два обстоятельства, чрезвычайно благоприятствующие аффективному укоренению этой идеи. Одно из них, это—традиционная потребность в авторитете. Вот что говорит об этом Фрейд в своем „Воспоминании из детства Леонардо да-Винчи“: „Биологически религиозность восходит к длительной беспомощности человека в детстве; в дальнейшем человек и в жизни испытывает чувство настоящей покинутости и слабости по отношению к великим силам жизни; свое теперешнее положение он ощущает так же, как и в детстве, и стремится затушевать безотрадность этого положения с помощью регрессивной реставрации инфантильных сил-покровительниц“. Ребенок повторяет процесс развития человечества,

и идея бога находит, таким образом, почву в этой потребности в авторитете. Навстречу аффективному усвоению идеи бога устремляется, кроме того, и чувство собственного всемогущества, то врожденное чувство всесилия, „вера во всемогущество мыслей“, о котором мы знаем, благодаря Фрейду и работе Ференци, „Стадии развития чувства реальности“ [1]; мы знаем, как глубоки корни этого чувства; знаем, что оно поэтому никогда не покинет человека. Это чувство собственного всемогущества ребенок, кроме того, проецирует и на окружающих; ему кажется, что и окружающие также всесильны и всемогущи. Идея бога, приписывающая абсолютное всемогущество определенному авторитету, находится, таким образом, в соответствии с этим чувством, как бы идет ему навстречу: она укрепляет самое чувство или служит препятствием, возникающим при его разложении. Мы знаем, что и в этом отношении родительский комплекс имеет определяющее значение; мы знаем, как важно для будущей жизни ребенка то, что случится с этим чувством собственной мощи в течение первой важнейшей любви ребенка, когда это чувство может или быть укреплено, или, наоборот, разрушено; мы знаем, что этим определяется его будущее развитие: станет ли он оптимистом, или пессимистом; будет ли его образ мыслей отличаться бодростью и предприимчивостью, или же, наоборот, скептицизмом, чрезмерно выраженным, препятствующим и тормозящим. Но для того, чтобы результатом развития был не безграничный утопизм и фантастичность, а оптимизм, для этого необходим своевременный корректив за счет мысли, за счет работы интеллекта. „Мощный религиозный тормоз мышления“, как его назвал Фрейд, мешает и препятствует тому, чтобы это чувство собственного всесилия было своевременно коррегировано работой мысли. Препятствие это заключается в подавлении мышления идеей огромного, непогрешимого авторитета, идеей, которая вводится опять-таки чисто авторитарным способом. Будучи введена чисто авторитарным путем, идея об авторитете, отличающемся огромной силой и непогрешимостью, становится „религиозным тормозом“ и препятствует разложению чувства собственного всемогущества. Разложение это может иметь место лишь постепенно и своевременно и с помощью работы мысли.

---

[1] Internat. Zeitschrift f. ärztl. Psychoanalyse I, 1913,

Но полное развитие принципа реальности в научном мышлении теснейшим образом связано со своевременной решимостью ребенка произвести в себе самом размежевание принципов реальности и наслаждения. Если процесс этого размежевания принимает благоприятное течение, то чувство всесилия создает себе особое, базирующееся на компромиссах отношение к работе мысли: оно занимает свою область в сфере желаний и фантазий; принципу же реальности оно представляет полную и единую власть в области мысли и установления фактов. [1]

В идее божества чувство всемогущества находит себе сильнейшую опору и чрезвычайно мощного союзника, являющегося почти непобедимым: мышление ребенка в большинстве случаев не осмеливается даже на какую-либо борьбу с ним, на какие-либо сомнения, так как оно, с одной стороны, не знает, как подступить к этой идее, не имеет в своем распоряжении никаких средств для этого, а, с другой стороны, слишком запугано огромным авторитетом этого понятия, чтобы быть в состоянии его отвергнуть. Правда, когда-нибудь в дальнейшем мысль, быть может, и сумеет преодолеть это препятствие, что все же отнюдь не уничтожает причиненного этим препятствием вреда мысли, — а сколько было мыслителей и ученых, которые всю жизнь не смогли перейти этой грани; у скольких из них грань эта оказывалась пределом познавательной работы. А вред действительно велик: колеблется чувство реальности; чувство это, не отваживающееся отвергнуть то, что кажется ему невероятным и нереальным, может быть до такой степени потрясено и расстроено, что дело кончается вытеснением не только функции познания близких, ощутительных, „само собой разумеющихся“ явлений, но и функции углубления, устремления в глубины. И не подлежит сомнению, что основы для совершенного и беспрепятственного всестороннего развития мысли можно заложить только в том случае, если на первой ступени развития мышления и умозаключения ум не отягощается задержками и тормозами, если он усваивает как само собой разумеющееся, так и чудесное, только на основании собственных и самостоятельных суждений и умозаключений, если он включает в свое духовное достояние

---

[1] Фрейд иллюстрирует это чрезвычайно убедительным сравнением. См. выпуск III этой библиотеки.

только то, что им познано действительно самостоятельно и независимо. Ущерб, конечно, может быть очень разнообразен и в разной степени выражен; урон, наносимый мышлению, может быть нанесен ему или в его целом, или в том или ином его измерении, но несомненно одно: дальнейшее умственное развитие не возмещает этой потери. Итак, оказывается, что тормоз, возникающий для мысли в виде идеи божества (несмотря на то, что он возникает уже после первичных, краеугольных нарушений мышления в самом раннем детстве), все-таки продолжает оставаться очень значительным. Недостаточно, следовательно, простого освобождения воспитания от вероисповедных элементов и догматов, тормозящее значение каковых уже и теперь в достаточной мере широко признано. Ввести понятие божества в воспитание и предоставить личности в ее дальнейшем развитии самостоятельно выяснить свое отношение к этому понятию—вовсе не означает предоставить ей свободу в этом отношении. Введение понятия о боге происходит обычно авторитарно; ребенок же в эту пору жизни интеллектуально бессилен и безоружен перед авторитетом, так что введение этого понятия оказывается определенным давлением на него. Его позиции в этом вопросе дано известное направление, от которого он сам никогда уже не освободится, а если освободится, то только при условии огромной борьбы и огромной затраты энергии.

Стремление человека к свободной мысли, потребность в этой свободе глубоко заложены в человеческой природе; борьба за эту свободу и страдания за нее возникли одновременно с историей самого человечества. Однако, сколько бы внешних оков ни удалось им сбросить—все это ничто в сравнении с тем огромным завоеванием, с тем ростом свободы, к которому может привести борьба против цепей, сковывающих мысль ребенка, мысль у самых ее истоков. Борьба эта является борьбой за более высокое развите человечества.

На месте этики, построенной на отрицании наличных в нас инстинктов, следует создать новую этику, допускающую свободное опознание этих инстинктов. Создать такую этику, предохранить детскую душу от бремени слишком сильных вытеснений и обеспечить свободу мышлению ребенка—вот что необходимо для того, чтобы люди были освобождены от власти бессознательных и вследствие этого неукрощенных инстинк-

тов; для того, чтобы они хотя бы отчасти начали мыслить свободно и последовательно. Психоанализ не имеет в виду провозглашать утопий, не собирается основывать новых верований. Но ему понятны глубочайшие бездны душевной жизни, и психоаналитик знает, что „человек никогда не будет любить своего ближнего, как себя“ и „никогда не будет любить своего врага“, как этого требуют основанные на незнании человеческой природы заповеди различных религий. Эти требования не исполнимы, они и остались не исполненными. Они доказали свою неспособность облагородить людей, улучшить их взаимное отношение; они относятся к инфантильному периоду истории человечества, подлежащему преодолению. Человечество ставило себе тогда чудовищные требования: оно хотело заглушить голос своей нечистой совести, хотело заставить себя поверить в иллюзию, обмануться ею, закрыть глаза на то, что оно не в состоянии исполнить даже ничтожную часть этих заповедей. Это сознание вины человечество унаследовало от своих отдаленных предков; его прививает каждому человеку в отдельности вся наша культура, отрицающая исконнейшие инстинкты человеческой природы и покоющаяся поэтому на вытеснениях: освободить людей от этого ощущения виноватости значило бы уже сделать их счастливее; значило бы возвести их с инфантильной ступени развития на более высокую, способную создать новые заповеди,—заповеди целесообразные и исполнимые,—способную не только провозгласить заповеди, но и следовать им на деле. Ибо истинное, а не теоретическое или догматическое только знание своих собственных глубочайших слабостей делает людей лучше, снисходительнее и внимательнее по отношению друг к другу. На основе такого знания людям будет легче устроить свою личную и общественную жизнь.

К ВОПРОСУ
ОБ АНАЛИЗЕ В РАННЕМ ДЕТСТВЕ[1]

(СЕКСУАЛЬНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ДЕТСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ)

Результаты анализов, производимых у взрослых невротиков, всегда приводят нас к причинам заболевания, относящимся к детскому возрасту. Неизбежный вывод отсюда: *анализы детей*; такие анализы и возможны, и необходимы.

И здесь, как и во всем, Фрейд указал нам путь своим анализом маленького Ганса[2]; по этому пути последовали затем и другие авторы и, прежде всего, женщина-врач Гуг-Гельмут (Hug-Hellmuth). Работа по обследованию этого пути составляет их большую заслугу.

На последнем конгрессе мы слышали чрезвычайно интересный и поучительный доклад д-ра Гуг[3]; доклад этот раскрыл нам многое: мы увидели, как, при работе с детьми, можно варьировать технику анализа, умело приспособляясь к требованиям детской души.

Дело шло об анализах детей с определенными заболеваниями или аномалиями в характере; докладчица считает, что анализы у детей имеют смысл только по достижении ими шестилетнего возраста.

Я хотела бы, однако, поставить на очередь следующий вопрос: каковы те теоретические положения, из числа полученных нами при анализах взрослых и детей, которые мы могли бы применить к психике ребенка моложе шестилетнего возраста; ведь известно, что анализы неврозов вскрывают перед нами в качестве травм и вредных причинных моментов такие события, впечатления или моменты развития, которые имели место в очень раннем детстве, т. е. до шести лет. Какие меры профилактики диктует нам наше знание? Что мы в си-

---

[1] Доклад в Берлинском Психоаналитическом Обществе в феврале 1921 г.

[2] „Анализ фобии у пятилетнего мальчика". См. XXIII выпуск этой библиотеки.

[3] К технике детских анализов, Zeitschrift f. Psychoanalyse, VII, 2, 1921.

лах сделать для ребенка именно в этом периоде его жизни? Ведь возраст этот, по учению психоанализа, имеет чрезвычайно важное значение: в этом возрасте создаются не только предпосылки возможных в дальнейшем заболеваний; нет, он имеет значение и для развития характера, и для всего последующего умственного развития личности. Наш первый и само собой разумеющийся вывод таков: надо прежде всего всячески избегать всех тех моментов, которые, как этому учит психоанализ, приходится считать грубыми травмами для детской души. Итак, мы выставим, как безусловное требование, чтобы ребенок, и притом с самого рождения, никоим образом не спал в одной комнате с родителями; мы будем более бережно навязывать маленькому развивающемуся существу наши этические требования более бережно, чем это делалось в свое время по отношению к нам самим. Мы дадим ему возможность подольше оставаться в естественном, не связанном состоянии; будем меньше, чем это было принято до сих пор, мешать ему осознать в себе различные инстинктивные влечения и доставляемое ими наслаждение и не поведем с самого начала борьбы против всего естественного, той борьбы, которая обычно пользуется всей энергией наших культурных наклонностей. Мы будем стремиться к тому, чтобы развитие ребенка шло несколько медленнее, чтобы оно давало ему возможность частичного осознания своих влечений, а вслед за тем и возможность их большей сублимации; при этом мы не будем препятствовать проявлениям просыпающегося в ребенке любопытства к сексуальной сфере, а будем удовлетворять это любопытство, делая это, однако, постепенно и—думается мне—самым прямым и откровенным образом. Мы сумеем дать ребенку достаточно любви, но постараемся не впадать при этом в крайность и будем остерегаться вредного избытка. Мы будем совершенно отрицать телесные наказания, угрозы ими; необходимое же при воспитании послушание мы сумеем все-таки себе обеспечить, отказывая ребенку в соответствующих случаях в нашей ласке („durch die Handhabe des Liebenszuges"). Можно было бы, конечно, установить еще целый ряд требований этого же рода, но направленных на детали; подобные требования с полной очевидностью вытекают из установленных нами истин, и нам не приходится прибегать здесь к их обоснованию. Что касается того, как в пределах современных

форм воспитания можно было бы осуществить эти требования так, чтобы ребенок не терпел ущерба в своем культурном развитии и не чувствовал бы затруднений при общении с инако мыслящими в окружающей его среде,—то сколько-нибудь подробный разбор этих вопросов не входит в рамки настоящей работы.

Сейчас я хочу отметить только то, что практически эти требования, предъявляемые к воспитанию, вполне выполнимы (я сама имела не раз возможность убедиться в этом), что влияние их определенно благотворно: развитие ребенка при соблюдении этих условий представляется во многих отношениях гораздо более свободным и естественным.

И вот, на основании моих наблюдений я пришла к убеждению, что и при соблюдении всего вышесказанного мы подчас достигаем только части того, к чему стремились; однако, применили мы фактически тоже только часть тех требований, которые вытекают, как следствия, из наших новых познаний. Мы видим на анализах невротиков, что только часть того вреда, который обусловлен вытеснением, может быть сведена на неправильное поведение окружающих или какие-либо иные неблагоприятные внешние обстоятельства. Другая часть и притом очень значительная, вытекает из особой установки существующей у ребенка со времени самого нежного возраста. Нередко, на основе вытеснения сильного любопытства к сексуальному, у ребенка развивается нежелание знать, непреодолимое отвращение ко всему сексуальному, каковое в дальнейшем в состоянии устранить только идущий в глубину анализ. При анализах взрослых—особенно в реконструкции—не всегда удается установить, какая доля в развитии невроза приходится на вредные условия и какая—на невротическое предрасположение. Ведь мы имеем здесь дело с величинами переменными, не поддающимися точному определению. Но вот что совершенно несомненно: при наличии более резкого невротического предрасположения часто достаточно уже самого ничтожного отпора со стороны окружающих, чтобы в ребенке фиксировалось определенно выраженное сопротивление всякому сексуальному просвещению, фиксировалось вытеснение вообще, чрезмерно отягощающее психическую конституцию. Данные эти, полученные на основании анализов невротиков, подтверждаются наблюдениями над детьми: тут

мы имеем возможность изучить эту эволюцию в ее начале. И тут обнаруживается, что часто, вопреки всем воспитательным мероприятиям, ставящим себе, между прочим, целью безоговорочное удовлетворение сексуального любопытства, любопытство это все-таки не проявляется свободно. Отпор в подобных случаях принимает самые разнообразные формы, начиная от абсолютного нежелания знать что-либо из данной области; иногда возникает интерес, направленный на что-нибудь другое и отличающийся обычно навязчивым характером, а иногда отпор начинается только с известного момента в сексуальном просвещении; ребенок вдруг, несмотря на живой интерес, направлявшийся им до сих пор, начинает оказывать резкое сопротивление при восприятии последующей части разъяснения и просто отказывается от дальнейшей информации.

Все благотворные воспитательные мероприятия, о которых только-что была речь, с успехом применялись в том случае, который подробно разобран мною в первой части этой работы: они оказали, в частности, превосходное влияние и на интеллектуальное развитие ребенка. Как это изложено выше, разъяснения были доведены до следующего: ребенок был осведомлен о развитии зародыша в утробе матери и о процессе родов, со всеми интересовавшими его деталями. Вопрос об участии отца в рождении ребенка не задавался прямо. Но уже тогда я полагала, что этот вопрос бессознательно, но интересует его. Были и такие вопросы, которые часто задавались снова, несмотря на возможно подробные ответы, дававшиеся всякий раз. Вот некоторые примеры: „мама, скажи, пожалуйста, откуда появляется маленький живот и маленькая головка и остальное? Как это так, что человек может двигаться, может делать что-нибудь, работать? Как это так, что у человека растет кожа, откуда она берется“? Вопросы эти (и некоторые другие) повторялись постоянно, пока продолжалось сексуальное просвещение, до и после него в течение целых двух-трех месяцев. Этот последний период, как уже сказано выше, сопровождался сильным скачком вперед в умственном развитии. Значение, которое пришлось впоследствии приписать частому повторению этих вопросов, я далеко не сразу усмотрела в полной мере; отчасти, может-быть, потому, что не совсем ясно отдавала себе в нем отчет: ведь у ребенка в это время чрезвычайно сильно развилась страсть к постановке вопросов

вообще. Весь ход развития любознательности, пытливости и интеллекта ребенка наводил меня на мысль неизбежности появления дальнейших вопросов на сексуальные темы. Я думала, что следует твердо держаться принципа постепенного разъяснения, производимого в строгом соответствии только с сознательно задаваемыми ребенком вопросами.

После этого периода наступило изменение в следующем смысле: число вопросов, вытекавших из явного стремления к знанию, уменьшилось, да и сами эти вопросы стали носить какой-то мудрствующий характер; стали превалировать зато вопросы, только-что упомянутые (и некоторые другие), при чем все эти вопросы становились стереотипными. Прибавились, кроме того, вопросы, носившие преимущественно характер поверхностных, производившие впечатление совершенной необдуманности и необоснованности. Он беспрестанно спрашивал, „из чего состоит тот или иной предмет" и как он делается. Так, например: „из чего состоит дверь, из чего сделана кровать, как делается дерево, как делается стекло, как делаются стулья"? А вот пример мудрствующего характера: „откуда взялось так много земли под землею [1], откуда берутся камни, вода"? и т. п. Не было никаких сомнений, что ответы на эти вопросы он вполне уяснил себе в общем, так что у него не было никаких интеллектуальных оснований ставить эти вопросы вновь и вновь. Вид у него, когда он ставил вопросы, был невнимательный, рассеянный: это говорило за то, что его, в сущности, вовсе не итересовали ответы на эти вопросы, несмотря на то, что задавал он их с большой страстностью. Однако, увеличилось и количество вопросов. Получилась общеизвестная картина, состоящая в том, что ребенок мучает окружающих своими вопросами, которые часто кажутся совершенно необоснованными, при чем ответы не прекращают появления дальнейших вопросов.

Этот новый период, с его усиленными, мудрствующими и ставшими несколько поверхностными вопросами, продолжался около двух месяцев, а затем наступила новая перемена.

---

[1] Не раз высказывал он сожаление, что мать „знает не все" и не может объяснить ему „всего". Когда же она спросила его однажды, что собственно она должна ему объяснить, то он подумал сперва немного, а потом ответил: „как убирают камни на постройках"?

Мальчик сделался молчаливым и стал обнаруживать определенную неохоту играть. Правда, он никогда не умел играть с особым удовольствием, проявляя фантазию; однако, он охотно участвовал в разных подвижных играх вместе с другими детьми. Он часто играл в кучера или в шофферы, при чем роль различных экипажей играли сундуки, стулья или скамейка. Но вот прекратились и эти игры и занятия, и в то же время исчезло желание быть в обществе других детей: попадая в их компанию, он не знал, что предпринять, что делать. Наконец, он стал скучать и в обществе матери, чего до сей поры никогда не случалось. У него пропала охота слушать ее рассказы, но он продолжал оставаться попрежнему нежным с матерью и испытывать потребность в ее ласке. Та рассеянность, которую он обнаруживал при ответах на поставленные им вопросы, стала теперь вообще очень заметна. Несмотря на эту перемену, которая не могла бы ускользнуть от внимания более опытного наблюдателя, все-таки едва-ли правильно было бы назвать подобное состояние „болезнью". Сон и самочувствие были превосходны. Несмотря на то, что он был молчалив и неразымчив от безделья, он оставался попрежнему приветливым, веселым и легким в обращении. Правда, за последние месяцы ухудшился аппетит. Фриц стал очень разборчив в еде: некоторые кушанья ему решительно не нравились; другие же, приходившиеся ему по вкусу, он ел с прекрасным аппетитом. Он стал еще более страстно проявлять свою привязанность к матери, хотя, на ряду с этим, иногда скучал в ее обществе. Это была одна из тех перемен, на которые окружающие обыкновенно не обращают внимания, а если и обращают, то не придают особенного значения. Вообще, взрослые привыкли к тому, что у детей бывают такие кратковременные или более продолжительные перемены, привыкли к тому, что трудно подыскать какое-нибудь основание для подобных изменений: такие колебания в развитии принято считать совершенно нормальными; до известной степени—это и верно, так как невропатические черты существуют почти у каждого ребенка, и только испытываемая этими чертами эволюция (и количество их) заставляет говорить о болезни. Мне бросилось особенно в глаза отвращение к рассказам, которые он так любил прежде.

Тут я подвела кое-какие итоги и сделала одно сопоставление. Я обратила внимание, с одной стороны, на страсть к вопросам, появившуюся вслед за частичным разъяснением половых проблем и принявшую затем частью мудрствующий, частью поверхностный характер; с другой же стороны, я отметила неохоту к постановке вопросов, вплоть до отвращения к самым простым рассказам. Когда я вдобавок ясно и отчетливо представила себе некоторые из его стереотипных вопросов, то в результате сопоставления я пришла к следующему определенному убеждению: сильнейшее влечение к исследованию оказалось у ребенка в конфликте с также очень сильно выраженной наклонностью к вытеснению; эта последняя склонность заставляла ребенка отвергать ту часть раз'яснений, которая бессознательно его более всего интересовала; победа оказалась на стороне вытеснения. Эволюция эта шла так: вместо вытесненных вопросов он сперва задавал целый ряд других вопросов, а в дальнейшем роде развития дошел до того, что стал вообще избегать задавать какие бы то ни было вопросы, стал избегать даже слушать, так как, слушая, можно было и без вопросов встретить что-нибудь такое, что он теперь уже не желал знать.

Здесь мне хотелось бы еще раз вернуться к тем замечаниям, которые высказаны мной в первой части работы о роли вытеснения. Я говорила там, что нередко удается установить ущерб, наносимый вытеснением интеллекту; ущерб этот обусловливается тем, что вытесненная энергия влечения связывается и пропадает для сублимировки, что вместе с комплексами в бессознательное погружаются и ассоциации идей. В связь с этим я высказала предположение, что, помимо этого, вытеснение может поражать интеллект даже в смысле изменения уклона в его развитии, нарушая, например, развитие интеллекта в его широте или глубине. Так, например, возможно в некоторых случаях такое направление исследовательского интереса, при котором ум начинает, вследствие вытеснения, избегать вопросов, затрагивающих их глубины, и станет вместо этого распространяться в ширину по поверхности: это может повести к возникновению многочисленных вопросов, но поверхностного характера, так что весь интеллект в целом принимает поверхностный облик. Но возможен и другой тип развития: исследовательский инстинкт у людей этого типа опасается вопросов,

избегает поверхностной широты и устремляется в глубину. В наблюдавшемся мною случае я отмечаю два периода: может-быть, эти периоды, до известной степени, могут иллюстрировать эти мои прежние предположения. Если бы линия развития фиксировалась на той стадии, когда ребенок, в связи с вытеснением своего полового любопытства, стал задавать бесчисленное количество поверхностных вопросов, то в этом случае мы имели бы перед собой пример поражения интеллекта в направлении его глубины. Если бы, наоборот, зафиксировался следующий стадий, — стадий неохоты к расспросам и отвращения к рассказам, — то в результате могла бы развиться боязнь широты и поверхностности интересов, ум мог бы приобрести направление исключительно в сторону глубины.

После этого отступления я хочу вернуться к моей основной теме. Во мне стало слагаться убеждение, что главной причиной психического изменения ребенка была вытесненная сексуальная любознательность; убеждение это напомнило об указании, сделанном мне в свое время одним коллегой, и заставило признать правильность его точки зрения. В прениях по поводу моего доклада в Будапештском Обществе д-р Антон ф. Фрейнд (Anton f. Freund) возразил мне, что наблюдения мои и группировки носят, правда, вполне аналитический характер, но зато само по себе разъяснение половых проблем, данное ребенку, этого характера не имеет, так как я обращаю внимание на одни сознательные вопросы, не считаясь с бессознательными. Я ответила тогда, что полагала вполне достаточным считаться только с сознательными вопросами, так как пока ничто не заставляет нас итти дальше. Но теперь мне стало ясно, что возражение это было справедливо; я поняла, что недостаточно обращать внимание на одни осознанные вопросы.

Я сочла необходимым довести сексуальное просвещение до конца и сообщить ребенку то, чего он еще не знал. Поводом послужил один из его очень редких в то время вопросов, а именно: какие растения вообще вырастают из семян. Ему было разъяснено, что и человек происходит из семени, был объяснен и самый акт оплодотворения. Однако, он выказал невнимание и рассеянность, перебил разъяснение каким-то другим, не относящимся к теме вопросом и не проявил никакой потребности осведомиться о деталях. В другой раз он

рассказал, что слышал от детей, что для того, чтобы курица могла класть яйца, необходим и петух. Однако, коснувшись этой темы, он тотчас же явным образом обнаружил желание не останавливаться на ней. При этом получилось совершенно определенное впечатление, что он вообще совершенно не принял к сведению всю последнюю часть только-что полученных им разъяснений, что он и не хочет принимать ее к сведению. Однако, на вышеупомянутую психическую перемену данное разъяснение ничуть не повлияло.

Но вот, наконец, матери как-то удалось, с помощью шутки и последовавшего за нею небольшого рассказа, снова заинтересовать его и привлечь его внимание. Давая ему конфетку, мать сказала, что конфетка давно уже его дожидалась, и тут же рассказала ему целую сказку. Он очень развеселился, просил несколько раз повторить этот рассказ и выслушал с большим удовольствием другой шуточный, про бабу, у которой, по желанию ее мужа, на носу выросла колбаса. Затем тут же, по собственному почину, он начал рассказывать сам; с тех пор он рассказал целый ряд разных фантастических историй, длинных и коротких, в некоторых случаях—связанных с какой-нибудь известной ему сказкой; в других же—придуманных им самим; в этих рассказах содержался очень значительный аналитический материал. До этого времени у ребенка было так же мало желания рассказывать, как и играть. Надо сказать, что сильный импульс в этом направлении обнаружился уже вскоре после первых шагов сексуального просвещения: у него тогда начали-было появляться изредка попытки рассказывать. Теперешние его рассказы напоминали по своему характеру сновидения, однако, лишенные вторичной обработки (они были совершенно безыскусственны, даже без всяких следов того примитивного искусства, с каким рассказывают обычно свои истории дети, в подражание взрослым). Такой рассказ начинался иногда прямо со сновидения последней ночи, а дальше развивался в форме вымышленных событий; совершенно такой же характер имела вся история, если она прямо начиналась с вымышленных событий. Рассказывал он эти истории с очень большим чувством, иногда испытывая сопротивление, несмотря на то, что толкование велось очень осторожно,—и тотчас же ненадолго обрывал нить рассказа, но вскоре с явным удоволь-

ствием опять принимался за продолжение. Я приведу краткие выдержки из некоторых его фантазий.

„Рядом идут две коровы, и вдруг одна из них прыгает другой на спину и едет на ней верхом, а затем эта другая корова прыгает первой на рога и крепко за них держится. Теленок тоже прыгает корове на голову и держится за удила (на вопрос, как коров зовут, он называет имена горничных). Потом они идут рядом и приходят в ад, где сидит старый чорт; у него такие мрачные глаза, что он ничего не видит, но он все-таки знает, что существуют люди. Такие же мрачные глаза и у молодого чорта. Потом они идут к замку; входят в него вместе с мужчиной, который был с ними, и входят в комнату в верхнем этаже; там они натолкнулись на веретено и укололись. Потом они засыпают на сто лет, затем пробуждаются и идут к королю: он им очень обрадовался и спросил их,—мужчину, женщину и бывших с ними детей,—не хотят ли они остаться здесь навсегда?". (Тут я спросила его, что же сталось с коровами?—„Они были тут же, и телята тоже".)—Речь шла о кладбище и о смерти. Вдруг он сказал: „если солдат застрелит человека, то человека этого не погребают, и он так и остается лежать, потому что кучер погребальных дрог тоже солдат и не зарывает в землю". Когда я спросила его, кого он, например, застрелил бы, он в первую голову назвал своего брата Карла, а затем, немного испугавшись, перечислил ряд имен родственников и знакомых.[1]

Он рассказал следующее сновидение: „моя палка отправилась к тебе на голову, потом она схватила пресс и стала давить прессом по голове". — Как-то утром, придя поздороваться с матерью, он поцеловал ее и сказал: „я влезу на тебя, ты — гора, и я на тебя полезу". Несколько спустя, он сказал: „я бегаю лучше, чем ты, я могу взбежать на лестницу, а ты не можешь".

Проходит довольно много времени, и он опять начинает с большой живостью задавать некоторые вопросы: „как получается дерево, как вделывается подоконник, как получается камень"? Получив ответ, что камень существовал

---

[1] Незадолго до этого он сказал: „я хотел бы посмотреть, как кто-нибудь умирает, не на мертвого, а на умирающего, а потом я увижу его и мертвым".

всегда, он говорит неудовлетворенно: „но откуда же он появился, из чего он вышел“? — Он рассказывает фантазию про голубя и пчелу: „они подошли к очень большой и глубокой реке. Знаешь, что эта была за река? Это было море, оно очень глубоко. А для великана оно не было слишком глубоким. И вот, пчела и голубь становились все больше и больше, как сундук, и потом они захотели войти в воду. Однако, река была для них все-таки еще слишком глубока. Тогда голубь сказал—он был умнее:—Принеси поскорее ящик.— И после этого оба полетели по воздуху. Воздух для них был не жилищем, а только полем. Потом они добрались до своего жилища; они попали в него сверху, так что полетели сверху прямо на лестницу. Тут пришел трубочист. В доме был целый ряд больших людей, все солдаты; они стали колоть трубочиста штыками и стрелять в него из ружей. Все это случилось уже после того, как он вычистил дымоход. Пчела и голубь тоже нацепили свои маленькие штыки на ружья, полученные ими от своих пап, и стали помогать солдатам. Они прострелили дыру в шляпе трубочиста. Тогда он вернулся, а они тотчас же зашили ему дыру с помощью иголки и бечевки. Он знал, что там была дыра, но больше не мог найти ее. После этого трубочист ушел вместе с голубем и пчелой“.

Он очень подробно рассказывает фантастическое сновидение, как он вместе с детьми семьи Л. (которых он очень любит и с которыми он теперь разлучен вследствие перемены квартиры) разъезжал в собственной телеге, нагруженной какими-то тяжелыми сосудами, и прибавляет затем: „потом мы вернулись обратно и поднялись в дом. Я сделал так, что в комнате стало темно, закрыл ставни снаружи, никто, кроме меня не решался сделать этого, девочкам пришлось бы при этом запачкаться“. Описав затем, как они жили вместе, он рассказал, что они сообща построили такой мост, которого никто не мог видеть, даже мама, а только они одни — дети. Он был сделан из досок, железа и клея синдетикона. Мост стал высоким-высоким, как солнце. Он принес для этого высокую лестницу и держал ее. Мост этот они могли убирать, куда угодно, и там, куда они его убирали, потом становилось чисто. Потом они вставили в два канала только по кусочку моста и потом опять вытащили. Железо было такое безобраз-

ное, что они переделали его в дерево и выкрасили большой кистью и т. д.

На ряду со всем этим начались игры. Он стал прежде всего очень охотно играть в самые разнообразные игры с другими детьми, со своим братом или с товарищами. Затем он стал играть и в одиночку. Появилась игра в эшафот; он уверял, что снес головы своим братьям и сестрам, давал головам пощечины и говорил: „такую голову можно побить по щекам, она ничего уже не может сделать". Он стал называть себя палачом (Galger). В другой раз я увидела его играющим в такую игру: шахматные фигуры представляли собой людей, один солдат, а другой король. Солдат сказал королю: „грязная скотина". Его арестовали и казнили. Потом его избили, но он ничего не ощущал, так как был мертв. У солдата было отверстие в ноге; король с помощью своей короны увеличил эту дырку. Потом солдат снова ожил; его спросили, будет ли он в другой раз вести себя подобным образом; он сказал, что не будет, и дело ограничилось одним арестом. — Вот одна из его первых игр: он играет на трубе и говорит, что он в одно и то же время и офицер, и горнист, и знаменосец. Затем он добавляет: „если бы папа тоже был горнистом и не взял бы его на войну, то он взял бы сам свою трубу и ружье и отправился бы на войну без него". — Он играет; среди его игрушек—две собаки. Одна из них называется „Красавчик", а другая—„Чумазый". И вот игра начинается: собаки превращаются в мужчин. При этом „Красавчик" представляет его самого, а „Чумазый"—папу.

В играх, как и в фантазиях, нашли выход резкая враждебность по отношению к отцу и сильное страстное чувство по отношению к матери. В то же время он стал разговорчивым и веселым; мог целыми часами играть с другими детьми; стал снова обнаруживать жажду знания и охоту учиться; жажда эта все нарастала, простиралась на различные области; вскоре он даже выучился читать и почти самостоятельно, без посторонней помощи. Надо сказать, что усердие его в этом отношении было столь велико, что временами даже казалось чрезмерным. Задаваемые им вопросы потеряли характер стереотипности и навязчивости. Такая перемена, без сомнения, была следствием освобождения фантазии; в процессе этого освобождения

мои толкования (производившиеся очень осторожно и лишь изредка) играли только вспомогательную роль.

Прежде чем передать один разговор, кажущийся мне очень значительным, я должна сделать некоторые дополнения. Желудку он продолжал приписывать особое значение. Несмотря на полученное им разъяснение, на неоднократные поправки, он продолжал считать, что дети растут у матери в желудке, и часто высказывался в этом смысле. Но и в остальном представление о желудке было у него как-то особенно аффективно окрашено. При всяком удобном случае он подавал казавшиеся бессмысленными реплики на тему о желудке. Так, например, когда один мальчик сказал ему: „иди в сад", он ответил ему: „ступай в твой желудок". Он получил даже выговор за то, что несколько раз ответил горничной на ее вопрос о том, где та или иная вещь: „в твоем желудке". Иногда он жаловался во время еды, — правда, не так уж часто, — на то, что „холодно в желудке", и уверял, что это от холодной воды. Он стал проявлять сильное отвращение к целому ряду холодных кушаний. В это же время он выразил желание увидеть свою мать совершенно обнаженной. Тут же он прибавил: „я хотел бы также посмотреть твой желудок и на то, что в нем делается". На ее вопрос, что он под этим подразумевает, „не то ли место, в котором он сам когда-то находился", — он ответил: „да, я хочу посмотреть, нет ли в твоем желудке ребенка". Несколько позже он выразился так: „я очень любознателен, я хотел бы знать все на свете". На вопрос, что же он, собственно, хотел бы знать, он ответил: „какое у тебя виви и какая дырка для каканья". Затем он улыбнулся: „я хотел бы заглянуть в клозет, когда ты там будешь, но так, чтобы ты не знала, и посмотреть на твоего виви и дырку для каканья". Через несколько дней он предложил матери, братьям и сестрам совместно сделать каки в клозете, при чем сделать это друг над другом: мать — под всеми, а он — над всеми остальными. Затем следует разговор, выясняющий его теорию о том, что дети получаются из пищи и тождественны с испражнениями. До этого разговора он сделал несколько отдельных замечаний в этом же роде. Он сказал, что его кака это — дурные дети, которые не хотят итти наружу; между прочим в связи с этим он тотчас же принял мое толкование, что уголь, который бегал вверх и вниз по лестнице (в одной его фантазии), это

тоже дети. Однажды он заговорил со своими каки; сказал, что он побьет их за то, что они такие жесткие и выходят так медленно.

Теперь я приведу этот разговор. Он сидит утром на горшке и заявляет, что каки уже находятся на балконе, но снова вошли вверх по лестнице и не желают выходить в сад (сад— так он неоднократно называл горшок). Я спрашиваю его: „итак, дети растут в желудке"? Я замечаю, что он заинтересовывается, и продолжаю: „кака образуется из пищи, а настоящие дети получаются не из нее". Он: „я знаю, они образуются из молока". Я: „о нет, они образуются из одного вещества, которое делает папа, и из яйца, которое находится внутри у мамы (он снова проявляет крайнее внимание и просит меня объяснить ему это). Я начинаю снова с маленького яйца, но он перебивает: „это я знаю". Я продолжаю: „папа может с помощью своего виви делать нечто такое, что, действительно, несколько напоминает по своему виду молоко, и называется оно семенем: он это делает так, что это похоже на то, когда делают виви, только не так много. У мамы виви устроено иначе, чем у папы". Он перебивает: „это я знаю". Я: „мамино виви в роде отверстия. И вот, когда папа впускает маме в ее виви семя из своего виви, то это семя течет дальше вглубь тела, а когда оно попадает там на маленькое яйцо, находящееся внутри мамы, то яйцо это начинает расти, и из него получается ребенок". Фриц слушал с великим интересом и сказал: „я очень хотел бы поглядеть, как это делается". Я объясняю ему, что это не полагается, но что когда он вырастет и станет большим (так как раньше это невозможно), то он и сам будет делать это. Он: „в таком случае, я хочу сделать это в маму". Я: „это не годится, мама не может быть твоей женой, она же, ведь, жена твоего папы. Тогда у папы не стало бы жены". Он: „мы же можем оба делать это в маму". Я: „нет, это не годится, у каждого мужчины только одна жена. Когда ты будешь большим, мама будет уже старой. Ты женишься тогда на молодой и красивой девушке, и она будет твоей женой". Он (готовый расплакаться, с дрожащими углами рта): „но мы будем жить в одном доме вместе с мамой"? Я: „конечно. И любить тебя мама никогда не перестанет, сделаться же твоей женой ей невозможно". Тут он спрашивает о различных деталях, о питании ребенка в утробе матери, о строении пупочного канатика.

Он крайне заинтересован, и сопротивления никакого больше не заметно. В заключение он говорит: „хоть один раз хотел бы я поглядеть, как ребенок попадает внутрь, и как он выходит наружу“. Итак, во время этого разговора, до известной степени уничтожившего его сексуальную теорию, он впервые проявил действительный интерес к отвергавшейся им до сих пор части сексуального просвещения: он только теперь воспринял эту часть, как следует. Как показали в дальнейшем некоторые сделанные им замечания, он вполне включил эти новые данные в состав своих познаний.

С этого времени значительно упал и исключительный интерес к желудку.[1] Однако, я не стала бы утверждать, что интерес этот совершенно лишился своего аффективного характера, и что он окончательно оставил эту теорию. Ференци как-то поделился со мною своим взглядом на частичное сохранение уже осознанных инфантильных сексуальных теорий: такая теория, по его мнению, представляет собою абстракцию от окрашенных удовольствием функций, в силу чего сохраняется известная приверженность к такой теории, так как функция-то не перестает быть приятной, доставляет наслаждение. В своем докладе на последнем конгрессе под названием: „О женском кастрационном комплексе“[2] д-р Абрагам (Abraham) высказал мысль, что причиной образования сексуальных теорий является нежелание ребенка усвоить ту роль, которую играет родитель, принадлежащий к другому полу, чем сам ребенок. Рогейм (Roheim) показал, что та же причина играет роль в образовании сексуальных теорий у примитивных народов.

В таком случае частичная приверженность к этой теории, может-быть, обусловливается и тем, что часть неосознанной анальной эротики продолжала оставаться активной, так как я подвергла толкованию всего только часть богатого аналити-

[1] Что касается симптома „холодно в желудке“, то ликвидирована только его часть, а именно, поскольку симптом имел отношение именно к желудку. Позже он говаривал, прежде довольно редко: „холодно в животе“. Осталось и сопротивление по отношению к холодным кушаньям, а антипатия к различным кушаньям, появившаяся за последние месяцы, вообще нисколько не изменилась от анализа, менялся только временами ее объект. Стул у него вообще регулярный, часто замедленный и тугой. И в этом от анализа не произошло никаких стойких изменений, разве только некоторые колебания.

[2] Доклад этот будет напечатан в Intern. Zeitschrift f. Psychoanalyse.

ческого материала. Во всяком случае только с разрушением сексуальной теории устранилось и сопротивление по отношению к усвоению знаний о действительных половых процессах; несмотря на частичное остаточное существование теории [1], все же создалась возможность принятия к сведению фактических данных о половых процессах. Ребенок как бы пошел на компромисс между теорией, частью еще фиксированной в его бессознательной сфере, и действительностью; мне кажется, что это лучше всего иллюстрируется одним сделанным им самим замечанием. Правда, это произошло через 9 месяцев: он как-то придумал историю, в которой утроба матери представлялась на подобие вполне устроенной квартиры, при чем желудок был особенно полно обставлен и даже был снабжен ванной и мыльницей. По поводу этой фантазии он тут же сделал сам такое замечание: „я знаю, что это не так в действительности, но я вижу это так".

После этого разрушения теории и связанного с ним усвоения фактических данных, резко выдвигается на первый план комплекс Эдипа. Вот, например, фантазия, сочиненная им через три дня после предшествовавшего разговора. Фантазию эту я ему отчасти истолковала. Он начинает с сообщения о своем сновидении: „я увидел большой автомобиль. Он выглядел совсем, как трамвай, в нем были тоже скамейки; а кроме того, был еще маленький автомобиль, который ехал рядом с большим. Крыши были так устроены, что можно было поднимать их, а когда идет дождь, закрывать. Автомобили покатили, наехали на трамвай и столкнули его. Потом большой автомобиль въехал на трамвай и потянул за собой маленький. Потом они сцепились: трамвай и оба автомобиля. У трамвая был аппарат для прицепливания. Ты знаешь, о чем я говорю? У большого автомобиля был большой, красивый серебристый железный стержень, а у маленького тоже нечто в роде двух маленьких стержней. Маленький автомобиль очутился между трамваем и большим автомобилем. Затем они въехали вместе на высокую гору и быстро спустились обратно. Автомобили и ночью оставались там. Когда появились трамваи, они их отталкивали прочь, и достаточно было кому-нибудь сделать

[1] Он как-то сказал за обедом: „макароны сейчас будут скользить в канал через проход". В другой раз: „мармелад сейчас же попадает в виви" (мармелад, впрочем, относится к нелюбимым объектам).

движение рукой, как они сейчас же уезжали обратно". (Я объясняю ему, что большой автомобиль—папа, трамвай—мама, а маленький автомобиль—это он сам; и он потому поместился между папой и мамой, что ему очень хотелось бы совершенно удалить папу, остаться одному с мамой). Он несколько медлит, но соглашается, и быстро продолжает дальше: „потом автомобили, и большой, и маленький, опять поехали; затем, они были в своей квартире и стали смотреть в окошко, очень большое окошко. Затем появились еще два больших автомобиля. Один из них дедушка (Grosspapa), а другой дед (Grossvater). Бабушки не было, так как она (он несколько медлит, вид у него очень серьезный), она умерла,—тут он поглядел на меня, но, не заметив с моей стороны никакой реакции, продолжал:—и вот, они все вместе съехали с горы. Один из шофферов открыл дверь ногой, другой шоффер надавил ногой то место, которое движется. Один шоффер заболел, это был дедушка,—снова поглядел на меня вопросительно, но видя, что я спокойна, заговорил:—другой шоффер сказал ему: „ах ты, грязная скотина! хочешь по морде, я закачу тебе сейчас хорошую пощечину".—Я спрашиваю: „Кто же этот второй шоффер?" Он: „Я. Тут его опрокинули наши солдаты. Все это были солдаты,—они сломали автомобиль, стали бить его, мазать ему углем лицо, совать ему уголь в рот (смягчая): он, видишь ли, думал, что это конфета, и взял ее в рот, а это был уголь. Потом все стали солдатами, а я был офицером. У меня был прекрасный мундир, и (он выпрямляется) вот как я держался, и все слушались меня. Они отняли у него ружье, он мог только так ходить (при этом он совсем скрючивается; смягчая), а потом солдаты дали ему взамен ружья знак отличия и штык. Я был офицером, а мама — сестрой милосердия (в его играх сестра милосердия всегда бывает женой офицера), а Карл, Лена и Аня (его братья и сестры) были моими детьми, и у нас была великолепная квартира—уже один ее наружный вид был такой же, как у королевской [1],—она была еще не совсем отделана, не хватало дверей, не было еще крыши; но она была все-таки прекрасна. Чего не хватало, мы тут же все это допол-

---

[1] Мать как-то сказала, лаская его: „моя куколка" („Mein Pupperl"), но он возразил ей на это: „называй Аню или Лену куколкой, девочкам подходит это, меня ты лучше называй иначе: „мой любимый королевич" (Liebens-Königerl).

нили". (Я объясняю ему, что означает эта не отделанная квартира и т. д.; он без особых затруднений принимает мое толкование к сведению.) „Сад был очень красивый, он был устроен на крыше. Я брал лестницу, чтобы влезть наверх. Я очень ловко взбирался наверх. А вот Карлу, Лене и Ане мне приходилось помогать. Столовая тоже была очень красивая, в ней росли деревья и цветы. Это ничего не стоит, это ведь очень просто, надо положить земли, и тогда из нее растет. Потом в сад пришел дедушка, совсем тихо, „так" (он опять изображает своеобразную походку), в руках у него была лопата, он хотел что-то копать. Тогда солдаты стали стрелять в него (он опять делает серьезную мину), и он умер". Затем он долго говорил о каких-то двух слепых королях, из которых один— его отец, а другой—отец его матери; далее он рассказал следующее: у короля были туфли такой величины, как до Америки; в эти туфли можно было войти, и места в них хватало. Ночью в них клали спать младенцев в пеленках.

После этой фантазии он начал усиленно играть, и с этих пор склонность к игре держалась стойко. Он играл совершенно один (целыми часами) и притом с той же охотой, с какой преподносил свои фантазии [1]. Он прямо говорил: „теперь я пойду и сыграю то, что я рассказал",—или даже так: „я не буду рассказывать, а прямо сыграю". Обычно бывает так, что бессознательные фантазии находят себе выход в играх, но в данном случае, как, вероятно, и во многих сходных с ним, причиной того, что склонность к игре оказалась заторможенной, было заторможение фантазий, и обе эти задержки исчезли одновременно. Мне пришлось, однако, убедиться в том, что прежние игры и занятия отошли теперь на задний план. Я здесь прежде всего имею в виду длившуюся целыми часами игру в шоффера, кучера и т. п. Состояла эта игра, собственно говоря, только в том, что он сдвигал скамейки и стулья, или сундук, и садился на них. Кроме того, не бывало почти случая, чтобы он не подбежал к окну, заслышав грохот какого-нибудь экипажа; при этом чрезвычайно огорчался, если ему случалось подбежать слишком поздно. Он мог целыми часами стоять у окна или у двери

[1] В этот период как-то утром он соорудил „башню" из своих постельных принадлежностей, влез в нее и заявил: „я—трубочист и чищу дочиста трубу".

дома, главным образом, для того, чтобы наблюдать за проезжавшими экипажами. Он предавался этому занятию с такой исключительной страстностью, что я усматривала в них нечто навязчивое [1].

В период, когда он начал сильно скучать, он оставил даже и этот суррогат игры. Как-то, чтобы побудить его заняться чем-нибудь, ему предложили соорудить экипаж каким-нибудь новым способом,—это-де так интересно, но он нашел, что в этом „ничего нет интересного". Когда одновременно с появлением фантазий он снова приступил к играм, или, вернее, впервые начал играть по-настоящему, то в играх его, в которых он комбинировал фигуры, зверей, людей, экипажи, кирпичи и т. п., опять появились поездки и переезды; но теперь это стало только составным элементом игры, сама же игра развивалась дальше на самые различные лады и с большим размахом фантазии, чего раньше совершенно не бывало.

Обыкновенно при этом дело переходило в сражения: сражались индейцы, разбойники или мужики, с одной стороны, а солдаты—с другой, при чем он сам и его группа обыкновенно изображали солдат. Как-то зашел разговор о том, что его отцу, демобилизованному (в связи с окончанием войны), надо сдать оружие и снаряжение. Это расстроило мальчика, особенно же, что надо сдать ружье и штык. Сейчас же он стал играть в такую игру: приходят мужики и хотят обворовать солдат. Однако, солдаты сильно бьют их и убивают. На другой день после фантазии с автомобилем он играл в игру, которую он сам объяснил мне: „солдаты арестовывают индейца. Он сознается, что провинился перед ними. Они говорят: „мы знаем, что ты еще больше провинился". Они оплевывают его, делают на него кака и виви, сажают его в клозет и продолжают делать на него. Он кричит, и виви при этом попадает ему прямо в рот. Один солдат уходит, а другой спрашивает: „куда?"—„Поискать навозу, чтоб закидать его". Злой человек идет за навозом, делает на него виви и кидает лопатой навоз индейцу прямо в лицо". На мой

[1] Интерес к экипажам, а равно и к дверям, замкам и засовам поэтому остается попрежнему очень большим; интерес этот утратил только свой исключительный навязчивый характер; таким образом, в этом случае также обнаружилось, что действие анализа не уничтожает благотворных вытеснений, которые теряют только свой навязчивый характер.

вопрос, что он, собственно, сделал, Фриц ответил: „он был злой. Он не пускал и нас в клозет, мешал нам сделать, что надо“. Потом он рассказал, что в клозете, около посаженного туда злого человека, было двое других, которые делали фокусы. В это же время он неоднократно отпускает разные презрительные выражения по адресу бумаги, которою он пользуется после опорожнения стула: „прошу вас скушать это, мой милый“, говорит он, обращаясь к бумаге. Будучи опрошен, отвечает, что бумага—это дьявол, который должен есть каки.

В другой раз он рассказывает: „один господин потерял галстук и усердно ищет его. Наконец, он его находит“.— Затем он рассказывает про чорта, как ему отрезали шею и ногу. Шея после этого могла ходить только в том случае, если к ней приделывались ноги. Теперь чорт мог только лежать и не был в состоянии выходить на улицу. Решили, что он умер. Однажды он выглянул в окошко, кто-то схватил его; это оказался солдат, который вытолкнул чорта и сам умер. Мне кажется, что этой фантазией можно объяснить страх, появившийся у него две недели тому назад, страх, совершенно для него необычный. Он высунулся в окошко, а горничная стала за ним и придержала его. Он испугался и успокоился только, когда она его отпустила. Страх этот, как показала последующая фантазия, был проекцией его бессознательных агрессивных стремлений [1]. В одной игре он изображал следующее: врача-офицера бьют и убивают, потом он снова оживает и отвечает на вопрос, кто он: „ведь я же папа“. После этого все становятся очень любезными и говорят ему (голос Фрица становится при этом совсем ласковым): „да, вы—папа, просим, в таком случае, пожаловать сюда“.— А вот другая фантазия: в ней тоже подвергают всевозможным издевательствам и истязаниям офицера-капитана, вплоть до ослепления; он также оживает, и Фриц говорит, что теперь

[1] В этом периоде наблюдения, особенно к концу его, в фантазиях, а равно и в играх, стало заметно, что он как бы отступает, как бы пугается своей собственной агрессивности. Так, иной раз, в самом разгаре игры в индейцев или в разбойников, он вдруг объявлял, что больше не хочет играть, так как ему страшно; вместе с тем он проявлял чрезмерное старание вести себя хорошо. В то время, ударившись о что-нибудь, он говорил: „это хорошо: это—наказание за то, что я был дурной“.

он опять может хорошо себя чувствовать с ним. И прибавляет: „я только отплатил ему за то, что он мне сделал, и перестал сердиться на него. Если бы я ему не отплатил, то продолжал бы на него сердиться“. И после этой фантазии, как и после многих других, он объявил, что теперь будет играть в нее.

Он очень охотно играет тестом и уверяет, что занимается варкой в клозете[1] (клозет это—маленькая шкатулка с углублением, которою он пользуется в игре). Однажды, во время игры, он показал мне двух одинаковых солдатиков и сестру милосердия и заявил, что это он, его брат и мама. На мой вопрос, который же из двух—он сам, он отвечает: „тот, у которого книзу есть нечто, что колется, это—я“. Я спрашиваю, что же это такое, что находится внизу и колется? Он: „виви“.—„Разве оно колется?“—„В игре не колется, а на самом деле—нет, я ошибся, не на самом деле, а в игре“.

Он продолжал преподносить разные фантазии, очень часто про чорта, но также и про капитана, индейца, разбойников и диких зверей. В этих фантазиях, а равно, как и в соответствующих им играх, развертывались его садизм, а также и либидо, направленные на мать.

Он часто приводит описание того, как он выколол глаза или отрезал язык чорту, неприятельскому офицеру или королю; есть у него даже и ружье, которое может кусаться, как морское животное. Вообще он, судя по его рассказам, чувствует себя все более и более сильным и могущественным. Не существует способа, которым можно было бы удивить его; он неоднократно говорит о своей достигающей небес пушке.

Теперь я считала, что в толкованиях нет уже больше надобности, и только в единичных редких случаях, да и то в форме намеков доводила то или иное до его сознания. А по всей манере его игр и фантазий, из отдельных его словечек я даже вынесла впечатление, что он сам осознал (или, по меньшей мере, предосознал) известную часть своих комплексов, и это мне казалось вполне достаточным. Так, например, садясь однажды на горшок, он выразился так: „я иду

[1] Совсем малым ребенком он в течение некоторого времени очень любил лепить из песку или земли, но это длилось очень недолго.

делать лепешки". Когда мать ответила на это в тон ему: „ну делай же скорее свои лепешки", он сказал: „ты будешь рада, если у меня будет много теста", и тотчас же добавил: „я сказал—тесто, вместо кака". „Какой я ловкий", сказал он, кончив свое дело: „какого большого человека я сделал. Если мне дадут теста, я сделаю из него человека. Мне надобно только что-нибудь острое для глаз и пуговиц".

Прошло, приблизительно, два месяца с тех пор, как начались мои отдельные толкования. Тут в моих наблюдениях наступил перерыв больше, чем на два месяца. В это время у мальчика стали появляться страхи; это намечалось уже несколько раньше, когда, играя с другими детьми, он вдруг отказывался продолжать игру в разбойников и индейцев; а игру эту он за последние месяцы очень полюбил. За исключением ночных страхов, наблюдавшихся у него в возрасте между двумя и тремя годами, проявлений страха у него не было,—во всяком случае они не наблюдались. Возникший теперь страх был одним из тех симптомов, которые, быть-может, обнаружатся еще и дальше, в связи с течением анализа. Может-быть, причину его возникновения можно видеть и в том, что он стал стараться снова с силой вытеснить осознаваемое им в последнее время. Самое появление страха было, по всей вероятности, непосредственно вызвано рассказами сказок Гримма, слушать которые он в последнее время очень любил; в связи с этими сказками страх неоднократно повторялся [1]. Может-быть, вспомогательную роль сыграла и болезнь матери, продолжавшаяся несколько недель, в течение которых она могла уделять очень мало времени крайне привыкшему к ней ребенку; конечно, это способствовало превращению либидо в страх. Страх появлялся большей частью перед сном, он стал в отличие от прежнего с трудом засыпать, а иногда и ночью просыпался в страхе. Вообще, было заметно ухудшение. Он гораздо меньше стал играть один, меньше рассказывал, а чтение приняло такой усидчивый характер, что приходилось говорить уже о чрезмерном усердии: он хотел учиться целыми часами под ряд и без конца упражнялся в чтении. Он стал менее живым и стал хуже вести себя.

[1] До начала анализа у него была резкая антипатия к сказкам Гримма, которая превратилась в любовь к ним одновременно с переменой в нем к лучшему.

Когда у меня снова появилась возможность заняться с ним,— правда, изредка я узнала (в отличие от предшествовавшего, при наличии порядочного сопротивления), что он видел сновидение, очень испугался того, что видел, и боялся даже днем. Он рассматривал картинки, на которых были изображены кавалеристы, и вот, листы эти открылись, и из них вышли два человека. Он, его братья и сестры схватились за мать и хотели пуститься в бегство. Они очутились у ворот какого-то дома, но неизвестная ему женщина сказала; что там негде спрятаться. Им все-таки удалось так спрятаться, что люди эти их не могли разыскать. Он рассказал этот сон, преодолевая сильнейшее сопротивление, которое еще усилилось, когда я начала толкование; мне пришлось ограничиться только очень неполной, частичной интерпретацией, чтобы не вызвать сопротивления, еще более сильного. Ассоциаций на тему сновидения получилось немного, только следующие: у этих людей были палки, ружья и штыки. Когда я объяснила ему, что все это означает не что иное, как большое виви его отца, которое ему в одно и то же время и хочется иметь, и которого он боится, он возразил, что „эти предметы твердые, а виви мягкое“. Однако, он удовлетворился интерпретацией и не оказал особого сопротивления, когда я объяснила ему, что виви тоже бывает твердым, и как раз при том действии, которое он хотел бы совершить. Потом он рассказал, что ему иной раз кажется, будто один из мужчин торчал в другом, что был всего один мужчина.

Нет сомнений, что теперь сильнее начинает проявляться гомосексуальный элемент, на который мы до сих пор мало обращали внимания; это вскрывают также дальнейшие сновидения и фантазии. Вот другое сновидение, не связанное однако, с чувством страха: повсюду были волки с высунутыми языками, за зеркалами, за дверьми и т. п. Он застрелил их всех, так что они все погибли. Не боялся их потому, что был сильнее их. — Последовавшие вслед за этим фантазии опять имеют своей темой волков. Как-то перед сном он испытывает страх и рассказывает при этом следующее: он боялся отверстия в стене, сквозь которое проходит свет (выемка в стене для отопления), потому что ему начинало казаться, что и на потолке тоже что-то в роде отверстия. Через него можно пролезть с помощью лестницы на крышу, какой-нибудь муж-

чина может сделать это. Он высказал опасение, не сидит ли в печном отверстии чорт. Он сообщил, что видел в книжке с картинками такой рисунок: дама сидит у себя в комнате. Вдруг она видит, что в печке сидит чорт, и оттуда высовывается его хвост. Затем следуют ассоциации; и вот, обнаруживается, хоть и против его желания и с сильным сопротивлением, что он боялся, что мужчина с лестницей наступит на него, сделает ему больно в области живота, а, в конце концов, он соглашается, что ему было страшно за его виви.

Вскоре после этого я слышу опять, ставшее, правда, редким: „мне холодно в животе“. Затем завязывается разговор на тему о животе и желудке, при чем он преподносит такую фантазию: в желудке имеется комната, в ней — столы и стулья. Кто-то садится там на стул и кладет голову на стол; тут весь дом обваливается, потолок рушится на пол, стол валится, и все рушится. Я спрашиваю: „кто этот кто-то и как он туда попал“? Он: „маленькая палка попала сквозь виви, вошла в живот, а потом в желудок“. В этом случае мое толкование не встречает сколько-нибудь значительного сопротивления. Я сказала ему, что он представил себе себя самого на месте своей мамы, и что у него есть желание, чтобы папа сделал ему то же самое, что он обыкновенно делает с мамой. Но он боится (так он думает и о маме), что ему будет больно, если эта палка — папино виви — войдет в его собственное виви, и что потом в животе и в желудке все будет разрушено. — В другой раз он рассказывает, что его пугает одна из гриммовских сказок. Это сказка про ведьму, дающую отравленную пищу человеку, который не ест ее сам, а кормит свою лошадь, вследствие чего она погибает. Он говорит, что боится ведьм, так как, может-быть, говорят неправду, что ведьм не бывает. Существуют же прекрасные королевы-ведьмы; он хотел бы поглядеть, как выглядит яд; жидкий он или твердый [1]. Я спросила, почему он боится, что мама с ним так скверно поступит, и что́ дурное он сделал ей или хотел сделать; он сознался, что желал ей и папе смерти, когда был на них сердит, и думал про себя: „дурная мама“. Он сознается, что

[1] Незадолго до этого у него появился интерес к тому, почему вода жидкая, и чем объясняется, что одни предметы жидкие, а другие твердые. Мне кажется, что это объясняется отчасти мыслями о яде. Страх существовал уже, когда появился этот интерес.

сердит на нее, когда она запрещает ему играть со своим виви. В продолжение разговора выясняется, что он кроме того боится, что его отравит ядом солдат; это—какой-то незнакомый солдат, который посмотрел на него на улице перед какой-то лавкой, когда он, Фриц, уперся ногами в телегу, желая влезть на нее. Я даю ему толкование, говорю, что солдат, это—папа, который хочет наказать его за дурное намерение влезть на телегу—то-есть на маму; сразу после этого он задает мне вопросы о половом акте, вопросы, каких он до сих пор еще не ставил. „Как это мужчина может вставить внутрь свое виви, собирается ли папа сделать еще одного ребенка,—скольких лет надо быть, чтобы быть в состоянии сделать ребенка,—может ли тетя вместе с мамой тоже сделать младенца и т. д.". Вначале, до рассказа, он совсем бойко спрашивает, не будет ли ему опять неприятно то „неприятное", что я ему истолковала, как это бывало до сих пор. При этом он сообщает, что тех вещей, которые ему объяснены, он больше совершенно не боится, даже когда он о них думает.

Что касается яда, то не удалось, к сожалению, вскрыть, в чем тут было дело, так как не последовало дальнейших ассоциаций в этом направлении. Да и вообще только иногда удавалось провести толкование на основании ассоциаций (Einfälle), а обыкновенно дело шло так, что дальнейшие ассоциации, сновидения, фантазии объясняли и дополняли предшествовавшие. Этим отчасти объясняется и то, что мои толкования подчас бывали довольно неполными. Весь этот случай представлял собой богатейший материал, по большей части, оставшийся неистолкованным. Помимо преобладающей сексуальной теории, можно было различить еще ряд других теорий родового процесса, целый ряд других тенденций;—все они, повидимому, существуют параллельно друг другу, хотя по времени та или иная приобретает большую интенсивность. Ведьма, появляющаяся в последней обсуждавшейся нами фантазии, повидимому, подводит его к особому образу, в дальнейшем часто повторяющемуся, который, как мне кажется, образовался путем деления образа матери. Я вижу это и по амбивалентной установке по отношению к лицам женского пола, которая время-от-времени начинает у него проявляться. В общем его отношение к женщинам, равно как и к мужчинам, вполне хорошее, но все-таки иногда я замечаю, что он проявляет совершенно недостаточно

обоснованную антипатию к маленьким девочкам или даже к взрослым женщинам. Этот второй женский образ („Image“), отщепленный им от образа матери с тем, чтобы сохранить для себя любимую мать в том виде, как она существует, — это женщина с penis'ом, повидимому, и у него это промежуточная инстанция к гомосексуальности, начинающей резко проявляться: символом этой женщины с penis'ом у него является корова; он не любит коров, но зато нежно любит лошадей [1]. В качестве примера приведу следующее: он испытывает отвращение, когда видит пену на морде коровы, и уверяет, что корова хочет плеваться, а про лошадь он говорить, что она хочет поцеловать его. Что корова для него символ женщины с penis'ом это вытекает с полной несомненностью из целого ряда фантазий, и не только из фантазий, но и из ряда его замечаний. Он несколько раз во время мочеиспускания отождествлял penis и корову. Например, „корова пускает в горшок молоко“, — или в тот момент, когда он расстегивает штаны: „корова выглядывает в окошко“. Возможно, что яд, подносимый ему ведьмой, детерминируется также и теорией оплодотворения с помощью еды и мыслью, что подобное оплодотворение может иметь место у него самого. Несколько месяцев тому назад, повидимому, не было и следа этой амбивалентной установки. Кто-то сказал при нем про одну даму, что она отвратительна, и Фриц спросил очень удивленно: „разве дама может быть отвратительной“?

В дальнейшем ему опять приснился страшный сон, и опять рассказ об этом сновидении сопровождался очень большим сопротивлением. Он заявил, что рассказать невозможно, и привел в виде основания этой невозможности, что „слишком уж длинно“. Рассказывать ему пришлось бы весь день. Я возразила ему, сказав, что он может рассказать хотя бы часть. „Но неприятное заключилось как-раз в длинном“, — был его ответ. Вскоре ему было уже ясно, что это „неприятное длинное“ было виви великана, который фигурировал в сновидении. Оно постоянно повторялось в самых различных формах, например, в виде аэроплана, отвозящего людей в какое-то здание, в котором нет ни пола, ни дверей, а во всех окнах масса народа. А сам великан весь со всех сторон увешан людьми и протя-

---

[1] Значение лошади мне еще не совсем ясно из имеющегося пока материала; повидимому, иногда — это мужской символ, а иногда женский.

гивает руку в его сторону. Это была общая фантазия материнской и отцовской утробы, а также либидо на отца. Обнаруживает свою активность также одна из его теорий родового процесса: представление, что он зарождает и производит отца (иногда и мать) на свет через анальное отверстие. Наконец, он может летать; он запирает великана в проходящий поезд с помощью вылезающих из поезда людей и улетает с ключом. В толковании этого сновидения он и сам принимает активное участие, кое-что интерпретирует самостоятельно. Вообще, он с очень большим интересом отнесся к истолкованию и стал спрашивать, находится ли это „совсем, совсем глубоко внутри,— как это ему кажется, но чего он все-таки не знает точно,— и может ли каждый взрослый человек объяснить это"? и т. д.

Про следующий сон он говорит, что сон был неприятен, что он помнит только офицера с очень большим воротником пальто, и что сам он тоже надел такой же воротник. Они вдвоем вышли откуда-то. Было так темно, что он упал. После толкования, что он опять вздумал состязаться с отцом и желал иметь такое же виви, как у отца, он вдруг внезапно вспоминает, что именно было в сновидении неприятного. Оказывается, что офицер угрожал ему, держал его, не позволял ему встать и т. д. Ассоциации на этот раз текли совершенно свободно. Приведу из них только одну деталь, пришедшую ему в голову на вопрос, откуда они, собственно, вышли с офицером? „Ему вспомнился двор какой-то лавки, который ему очень понравился, так как там он увидел маленькие нагруженные вагончики, въезжавшие и уезжавшие по узким рельсам". Опять желание делать с матерью то же, что и отец, и на ряду с ним; но это не удается, после чего он переносит на отца направленное на него (отца) агрессивное чувство, таким образом, что теперь оно направлено уже на него самого. И здесь, я думаю, существует тоже другая детерминанта: анальноэротическая (и притом очень резкая) и гомосексуальная (проявляется она, несомненно, и во многих фантазиях с чортом: чорт живет обыкновенно или в пещере, или в каком-то своеобразном доме). Эти новые наблюдения продолжались приблизительно шесть недель, при чем анализ производился по большей части только в связи со страшными сновидениями; вслед затем страхи опять совершенно прекратились, он снова легко засыпал и спал превосходно. Что касается игр и потреб-

ности в компании, то дело обстояло как нельзя лучше. Одновременно со страхами появилась одна небольшая фобия: он боялся уличных мальчишек. Реальные основания состояли в том, что уличные мальчишки неоднократно приставали к нему и пугали, угрожая ему. Он стал бояться ходить один по улице, так что его нельзя было заставить выйти одного. Добраться аналитически и до этой фобии я уже не могла, так как мне пришлось опять уехать. Не считая этого, мальчик производил вполне благоприятное впечатление. Когда я снова увидела его через несколько месяцев, это хорошее впечатление укрепилось еще больше. Фобия у него за это время прошла, при чем следующим образом, судя по его рассказу. Вскоре после моего отъезда он в первый раз перебежал через улицу, однако, должен был при этом закрыть глаза. Потом он стал выходить на улицу, отворачиваясь, и, наконец, мог ходить уже совсем спокойно. Зато он проявлял решительную антипатию к анализу (отчасти, пожалуй, вследствие этой попытки самостоятельного лечения; — он уверял меня с гордостью, что теперь он ничего больше не боится), избегая рассказывать истории и слушать сказки, — и это было единственное, в чем он переменился не к лучшему. И вот, спрашивается, как произошла эта, повидимому, устойчивая ликвидация фобии? Была ли она исключительно — как это мне удалось констатировать полгода спустя—следствием этой автотерапевтической попытки, или же это было, по крайней мере хоть отчасти, последовательное действие курса лечения, наступившее после его окончания, как это вообще часто можно наблюдать, констатируя исчезновение одного симптома за другим после анализов?

Должна сказать, что мне не хотелось бы в данном случае говорить о „законченном курсе лечения". Я вела наблюдения, прибегая лишь время-от-времени к истолкованиям, так что едва-ли правильно говорить о курсе лечения; я скорее назвала бы это „воспитанием с примесью анализа". По той же причине я также не стала бы утверждать, что мое воздействие в тот момент, до которого я дошла в моем сообщении, было уже закончено. Уже одно то, что появилось сильное сопротивление по отношению к анализу и нежелание слушать сказки, говорит за возможность появления в дальнейшем поводов к периодическому введению аналитического подхода в воспитательные мероприятия.

Здесь я подхожу к выводу, который мне хотелось бы сделать на основании данного случая. Я думаю, что ни в одном случае воспитание не должно было бы отказываться от частичного применения анализа, так как при этом теряется очень ценное пособие, профилактическое действие которого чрезвычайно велико. Если я, с одной стороны, могу обосновать это требование только одним этим случаем, в котором анализ оказался очень ценным воспитательным пособием, то, с другой стороны, у меня есть целый ряд наблюдений над другими детьми, воспитывавшимися без такого аналитического пособия. Из этих наблюдений я хотела бы рассказать только о двух хорошо мне известных случаях, в которых развитие детей [1] шло так, что эти случаи кажутся мне особенно подходящими для иллюстрации моих положений. Дети эти относятся к числу нормальных, ибо у них не наблюдалось ни невроза, ни ненормальностей в развитии характера; они обладали прекрасной конституцией и воспитывались с любовью и довольно разумно. Одним из принципов воспитания была принятая допустимость любого вопроса; ответы давались охотно; да и, вообще, дети пользовались гораздо большей свободой в проявлении своих мнений, большей непринужденностью, чем это бывает обыкновенно; они воспитывались ласково, но твердо. Однако, этой свободой ставить вопросы и получать ответы (даваемые охотно) — в смысле сексуального просвещения — воспользовался только один ребенок (из двоих, о которых идет речь), и то в очень незначительной степени. И только гораздо позже, — уже будучи взрослым, — мальчик этот рассказал, что ответ, полученный им на его вопрос о рождении детей, — ответ вполне правильный, — совершенно не удовлетворил его, показался недостаточным, так что проблема продолжала и дальше сильно занимать его. Сообщенные ему сведения хотя и соответствовали вопросу, были, очевидно, недостаточны, так как совершенно не касались роли отца в рождении детей. Обращает на себя внимание, что мальчик, будучи внутренно занят этой проблемой, тем не менее никогда больше не задавал ни одного вопроса на эту тему; причина этого молчания неизвестна и ему самому, так как у него не было никакого

[1] Это дети моих близких друзей, брат и сестра, с развитием которых я хорошо знакома.

повода сомневаться в том, что ему будет с готовностью дан ответ. На четвертом году у этого мальчика началась фобия по отношению к более близкому общению с людьми, — особенно со взрослыми,—а дальше к ней присоединилась боязнь жуков. Фобии эти держались несколько лет и постепенно были до известной степени устранены с помощью любовного отношения и приучения. Правда, брезгливое отношение к мелким животным никогда совсем не пропадало. Потом мальчик никогда не проявлял никакой склонности быть в обществе, в компании, хотя у него и не было больше прямой боязни этого. Вообще же мальчик хорошо развивался телесно, душевно и умственно, и здоровье его оставалось вполне нормальным. Фобию он перенес благополучно, но мне кажется, что следы ее остались в виде стойких черт характера: определенно выраженной необщительности, сдержанности, погруженности в себя и некоторых других связанных с ними свойств характера.

Второй пример: девочка, в первые годы жизни казавшаяся необычайно одаренной и любознательной. Приблизительно же с пятилетнего возраста пытливость ее сильно ослабела[1], девочка становилась все более и более поверхностной, неохотно училась, не было глубоких интересов, так что в результате, по крайней мере, по настоящее время, — ей сейчас пятнадцатый год, — интеллект ее оказался совершенно посредственным.

Принципы традиционного воспитания, хорошие и надежные, дали много в деле культурного развития человечества; однако, проблема индивидуального воспитания отдельной личности продолжает оставаться едва ли разрешимой; лучшим педагогам это было и продолжает быть известно. Кто имел возможность наблюдать и следить за развитием детей, а также подробнее занимался вопросом о характерах взрослых,—знает прекрасно, как часто внезапно сдают даже в высшей степени одаренные дети, притом без всякой видимой причины и на самые различные лады. Одни из них, хорошие и послушные до известной поры, делаются боязливыми в обращении или даже упрямыми и агрессивными. Приветливые и веселые дети становятся замкнутыми и необщительными. Интеллектуальные способности, обещавшие прекрасный расцвет, представляются вдруг как бы подрезанными. Блестяще одаренные дети часто

---

1 Девочка эта никогда ни разу не задавала вопроса на сексуальные темы.

не справляются с самой пустячной поставленной им задачей и теряют в дальнейшем мужество и веру в свои силы. Конечно, бывает и так, что затруднения эти в дальнейшем развитии счастливо преодолеваются. Очень часто, однако, бывает иначе: мелкие затруднения, в которых часто помогала найти выход любящая рука родителей, в дальнейшей жизни принимают характер больших и непреодолимых трудностей и препятствий; и дело может кончиться катастрофой или, по крайней мере, большими страданиями. Вред, наносимый развитию, его торможение — неисчислимо, не говоря уже о множестве тех, кто в дальнейшем оказывается подверженным неврозу.

Наша мысль о необходимости введения психоанализа в число воспитательных мер вовсе не означает разрушения старых, добрых и вполне оправдавших себя принципов воспитания. Психоанализ при этом должен играть подсобную роль в воспитании, служить дополнением к нему; все же, что есть верного в традиционных основах, остается неприкосновенным[1] Ведь и во все времена настоящие педагоги бессознательно стремились к истинно-необходимому: к тому, чтобы ближе подойти к глубоким душевным движениям ребенка, иной раз столь непонятным и, казалось бы, достойным порицания. И не они сами, не педагоги эти, а приемы их виной тому, что им не удавалось осуществить их намерений (а если удавалось, то только в очень несовершенном виде). В прекрасной книге

[1] Мой опыт показал мне, что с внешней стороны, повидимому, не требуется особых изменений в воспитании. Прошло приблизительно полтора года с того момента, как я закончила приведенные в этой статье наблюдения. Маленький Фриц ходит в школу, превосходно подчиняется всем ее ограничениям и считается в школе и всюду вполне благовоспитанным ребенком, поведение которого, при всей естественности и непринужденности, вполне соответствует требованиям. Однако, есть нечто, чем он существенно отличается от других, и что мало заметно для непосвященного наблюдателя. Это—полное изменение самой установки в отношениях воспитателя и ребенка. Мы видим, что ребенок с легкостью подчиняется таким педагогическим требованиям, которые обычно удается провести в дело только при условии очень больших стараний, большого авторитета, да и то с большим трудом; и это только потому, что анализ устранил бессознательные сопротивления ребенка. А на ряду с этим установились и сердечные, дружеские отношения. Таким образом, мы приходим к выводу, что в результате воспитания с помощью психоанализа ребенок прекрасно выполняет и самые обычные педагогические требования; правда, поведение ребенка обусловлено теперь совсем другими предпосылками.

Лилли Браун (Lilly Braun) „Мемуары социалистки“ мы читаем, как она, имея в виду завоевать симпатию и доверие своих пасынков (двух мальчиков лет 10-ти и 12-ти) решает разъяснить им половые процессы, исходя из предстоящих ей родов. Она встречает явное сопротивление и отпор, очень огорчается, теряется и бросает свою попытку. А сколько родителей, у которых было величайшее стремление сохранить любовь и доверие своих детей, внезапно попадают в такое положение, когда они принуждены придти к убеждению, — не понимая, почему это так,—что, в сущности, они никогда не пользовались у детей своих ни настоящей любовью, ни доверием.

Вернемся теперь к нашему, столь подробно описанному случаю: чем, собственно, было обусловлено введение психоанализа в воспитание этого ребенка? У ребенка пропала охота играть, и эта задержка шла рука-об-руку с такой же задержкой по отношению к слушанию рассказов и к собственному рассказыванию; кроме того, наблюдались необщительность, рассеянность, наклонность к мудрствованию. Общий психический статус ребенка в этой стадии, правда, не мог быть подведен под понятие „болезни“, но с другими случаями допустимо предположение, что эти задержки по отношению к играм, рассказам и сказкам, эта наклонность к мудрствованию и рассеянность — в будущем легко могли бы сгуститься до невротических черт, а необщительность и молчаливость могли бы стать чертами характера. Здесь я должна сделать следующее очень важное дополнение: особенности эти частью существовали у ребенка с самых ранних пор, правда, не в резкой степени; и только когда они усилились и когда к ним присоединились еще некоторые другие черты, только тогда получилась более яркая картина, заставившая меня подумать о желательности психоатналитического вмешательства. Мальчик, развивавшийся, правда, медленно, но вполне нормально и здорово, говорить начал только двух лет от роду. Но еще до того, да и после, у него было необычно задумчивое выражение лица, которое в дальнейшем, когда ребенок стал говорить более бегло, совершенно не соответствовало тем вполне нормальным, но ничуть не умным замечаниям, которые он делал. Он никогда не рассказывал долго, вообще мало говорил, не находил в играх (с участием фантазии) накакого удовольствия. Он охотно проводил время в обществе симпатичных ему детей, но не играл

при этом; в сущности говоря, он любил только подвижные игры и некоторое время любил лепить песочные фигурки. При всей своей бойкости, он, по большей части, бывал задумчив, любил приглядываться и наблюдать. Общество взрослых, за исключением близких ему людей, не доставляло ему никакого удовольствия: он не стеснялся разговаривать со взрослыми, но у него просто не было никакой охоты к этому. Я совершенно не могу судить, в какой мере могло сыграть роль травмы перенесенное им в возрасте около одного года мучительное заболевание, а также не послужило ли оно причиной некоторого замедления темпа развития. Во всяком случае было отмечено, что до заболевания наблюдались если и не попытки говорить, то все-таки некоторого рода речеподобные звуки, которые затем появились вновь, но уже гораздо позже. Спрашивается, не означает ли позднее развитие речи также нежелание разговаривать, той неохоты к разговорам, что проявлялась впоследствии? Нет ли здесь какой-нибудь связи? Но вот что фактически произошло: в связи с началом вопросов на сексуальные темы и удовлетворением этого интереса последовал не только толчок в развитии, но ребенок совершенно переменился и в смысле исчезновения существовавшей сызмала молчаливости и отсутствия склонности к вопросам и рассказам. Правда, все эти явления возобновились в прежнем виде после описанных нами периодов развития, и состояние продолжало даже ухудшаться вплоть до начала психоанализа. Анализ устранил задержки и положил начало более свободному развитию. Теперь, в противовес прежнему, обращает на себя внимание его бойкая разговорчивость, определенно выраженная общительность, потребность в обществе взрослых, с которыми он беседует теперь очень охотно и вполне непринужденно.

Этот случай научил меня еще кое-чему. Как полезно и целесообразно было бы, если бы можно было вводить примесь анализа в воспитание как можно раньше—так, чтобы подход к бессознательной сфере ребенка налаживался непосредственно после установления контакта с его сознанием. Тогда, вероятно, можно было бы устранять задержки и невротические черты в самом начале их появления. Нет сомнения, что нормальный ребенок в возрасте трех лет (а может быть и раньше) обнаруживает очень живые интересы и вполне достаточно

интеллектуально развит, чтобы схватить смысл даваемых ему объяснений в той же мере, в какой он схватывает все остальное. Вероятно, он даже более способен на это, чем ребенок по-старше, у которого есть уже аффективные препятствия, вследствие сильнее укрепившегося сопротивления. Маленькому же ребенку эти естественные вещи вполне близки и понятны до тех пор, пока не подействовало вредное влияние воспитания. Вот при таких условиях мы действительно имели бы (куда более, чем в нашем случае, где дело идет о пятилетнем ребенке) настоящее воспитание с примесью психоанализа.

Как бы ни были велики, в смысле пользы для индивидуума и общества, возлагаемые нами на такое воспитание надежды, надо сказать, что нам, с другой стороны, совершенно не приходится опасаться его чрезмерного влияния. Даже если перед нами бессознательная сфера совсем маленького ребенка, то и в ней всегда уже будут в готовом виде все его комплексы. Спрашивается, в какой мере эти комплексы обусловлены филогенетически, и в какой мере они приобретены онтогенетически? По А. Штарке (Starcke), один из онтогенетических корней кастрационного комплекса у грудного ребенка обусловлен тем, что ребенка временно разлучают с грудью матери, каковую грудь ребенок считает как бы частью себя самого. Опорожнение кала рассматривается как другой онтогенетический корень того же кастрационного комплекса. В нашем случае никогда не применялось никаких угроз, так что наклонность к онанизму проявлялась совершенно свободно и безбоязненно, но все-таки у нашего мальчика существовал очень резко выраженный кастрационный комплекс, выросший, несомненно, частью на почве эдиповского комплекса. Но корни этого комплекса (как и комплексов вообще) лежат, во всяком случае, на такой глубине, куда мы не в состоянии проникнуть. В описанном нами случае, как мне кажется, основы всех задержек и невротических черт относятся еще к поре до начала развития речи. Конечно, можно было бы устранить их гораздо раньше и легче, чем это имело место в действительности, не устраняя, конечно, активности вызвавших их к жизни комплексов. Опасаться, что действие раннего анализа будет итти слишком далеко, что оно будет угрожать культурному развитию индивидуума, а тем самым и культурным ценностям человечества, конечно, не приходится. Как бы глубоко ни удавалось нам проникнуть, мы

все-таки всегда наталкиваемся на грань, перед которой мы вынуждены остановиться. И впредь будет существовать много бессознательного и комплексно-окрашенного, и одно будет действовать в направлении художественного и культурного творчества. Предупреждение слишком больших душевных потрясений и устранение задержек—вот что в состоянии дать ранний анализ. Но этим самым ранний анализ сослужит службу не только здоровью отдельного индивидуума, но и культуре, так как, благодаря устранению задержек, будут освобождены возможности развития. Стоило дать удовлетворительные ответы на часть бессознательных вопросов нашего мальчика, как все его общие интересы получили мощный импульс; это было чрезвычайно характерно. И опять: как резко понизилась его пытливость, как только в нем заработали другие бессознательные вопросы, целиком абсорбируя все его интересы.

Пожалуй, излишне подробно говорить о том, что основание влечений и желаний может только уменьшить их интенсивность. И на основании личного опыта я могу определенно констатировать, что это возможно сделать, не подвергая пациента абсолютно никакой опасности: как у ребенка, так и у взрослого. Не подлежит сомнению, что у нашего мальчика наступило определенное изменение характера с того момента, как началось сексуальное просвещение; изменение это резко усилилось, как только начался анализ, при чем появились даже и „неудобные“ черты характера. До сих пор он был кроток, проявлял агрессивность только в исключительных случаях; теперь он стал агрессивен, стал задирой; и не только в фантазиях, но и в действительности. На ряду с этим падал все больше и больше авторитет взрослых, хотя это совсем не означало потерю способности считаться с другими. У него появился здоровый скептицизм, желанье знать и понимать то, во что приходится верить. И этот скептицизм сочетается у него со способностью полного признания чужих заслуг и качеств; особенно же это относится к отцу, которого он очень любит, и которым восхищается, и к старшему брату. К женскому полу он относится скорее с чувством превосходства, более покровительственно, но это обусловлено уже другими причинами. Уменьшение авторитета проявляется прежде всего в том, что он с каждым человеком устанавливает отношения товарищеские и дружественные, такие же, какие у него существуют с роди-

телями. Он очень ценит возможность проявить свое мнение, отстоять свои желания: подчиняться ему, по временам, очень трудно. Но при всем том, его легко убедить в правильности чего-нибудь, и в общем, как это ему иной раз и ни трудно, он все же, чтобы не огорчать любимую им мать, довольно хорошо слушается и подчиняется. В общем, его воспитание не причиняет особых затруднений, несмотря на появление „неудобных“ черт характера.

Он очень добр, это качество развито у него в очень большой степени, и оно нисколько не потерпело ущерба, скорее развилось еще более. Он легко и охотно делится с другими, способен на жертвы в пользу других людей, которых он любит, считается с людьми и обладает в достаточной степени тем, что называется „сердечностью“. В этом случае мы видим то же самое, что и при анализах взрослых: анализ нисколько не вредит подобным ценным особенностям, не наносит им никакого ущерба; наоборот, скорее благоприятствует им. Поэтому, мне кажется, вполне допустимо заключение, что и ранний анализ не нанесет ущерба удачным и счастливым вытеснениям, реактивным образованиям и сублимациям; наоборот, он только создаст возможность для дальнейших сублимаций[1].

Надо отметить еще одно затруднение, с которым приходится считаться при раннем анализе. Нельзя отрицать, что любовь к матери, благодаря осознанию инцестуозных желаний, начинает проявляться и в жизни гораздо сильнее; однако, мы, тем не менее, не видим попыток перехода принятых границ в какой-нибудь иной форме, чем это вообще бывает с нежными и ласковыми маленькими мальчиками. Отношение же к отцу превосходное, несмотря на то, что стала осознанной агрессивность (а, может-быть, именно потому, что она стала осознанной). И здесь оправдывается то же самое: страсть осознанную легче сдерживать, чем остающуюся неосознанной. Но, на ряду с наступлением понимания инцестуозных желаний, он уже начинает делать попытки к устранению этой страсти и к перенесению ее на достижимые для него объекты. Мне кажется, что это вытекает и из того цитированного нами

[1] В данном случае устранению подверглось бы только все чрезмерное, крайнее, преувеличенное и навязчивый характер всех этих явлений.

разговора, в котором он с горестью утверждает, что он, по крайней мере, хотел бы в дальнейшем остаться жить с матерью. И дальше он повторно делает разные замечания, указывающие на то, что отчасти начался уже процесс отрешения от матери, или что он, по крайней мере, делает попытку в этом направлении [1].

Можно, следовательно, надеяться, что его отрешение от матери пойдет правильным путем: по пути выбора объекта по сходству с матерью.

Что касается тех затруднений, которые, благодаря раннему анализу, могли бы возникнуть для ребенка в его отношениях с инако мыслящей окружающей средой, то мне почти не пришлось наблюдать таковых. Ребенок, проявляющий такую большую чувствительность по отношению даже к самым легким степеням отпора, прекрасно знает, где он может рассчитывать на понимание и где нет. В нашем случае, мальчик, после нескольких неудавшихся попыток, совершенно перестал оказывать кому-либо, кроме матери и меня, доверие в этом отношении. Но что касается всех других вопросов, то он сохранил прежнее доверчивое отношение к окружающим.

Было еще одно обстоятельство, которое легко могло бы иметь нежелательные последствия, но вскоре выяснилось, что его нетрудно парализовать. У ребенка возникла вполне естественная потребность сделать самый анализ источником удовольствия. Он стал являться по вечерам, перед тем, как итти ко сну, и заявлял, что ему пришло в голову то или иное, о чем он во что бы то ни стало должен сейчас же поговорить. То же самое случалось и днем, он старался подобными же заявлениями привлечь к себе внимание, пробовал рассказывать свои фантазии в неподходящее время,—короче, на разные лады пробовал претворить анализ в жизнь. В данном отношении я последовала данному мне Фрейндом совету, который оказался чрезвычайно полезен: я установила определенные часы для наших аналитических бесед (часы эти я

[1] Почти год спустя, он как-то опять однажды, после проявлений своей любви к матери, высказал ей сожаление, что не может на ней жениться. „Когда ты будешь большой, тебе понравится красивая девушка, и ты на ней женишься", —возразила мать. „Да,—ответил он, почти утешенный,—но она должна очень походить на тебя, у нее должно быть такое же лицо, такие же волосы, и имя у нее должно быть то же, что у тебя".

иногда сама меняла) и заставляла ребенка строго придерживаться этого времени, несмотря на то, что мы с ним, благодаря совместной жизни, довольно много времени проводили вместе. И, после нескольких неудачных попыток, ребенок вполне подчинился этому ограничению. Я дала также энергический отпор его попыткам хоть сколько-нибудь давать волю обнаружившимся во время анализа проявлениям враждебности по отношению к родителям и ко мне и потребовала, чтобы он был попрежнему вежлив; и это требование вскоре было вполне осуществлено. Правда, здесь я имела дело с ребенком старше пяти лет, т.-е. уже с довольно разумным существом, но я не сомневаюсь, что и по отношению к более маленьким детям можно найти средства, подходы, которые устраняли бы эти нежелательные явления. Но зато с более маленьким ребенком, ведь, и не придется вести сразу таких подробных и обстоятельных разговоров, а можно будет ограничиться отдельными толкованиями (по тому или иному поводу), например, по поводу игры, — каковые толкования такой маленький ребенок, пожалуй, воспримет гораздо легче и проще, чем ребенок постарше. Да, ведь, и традиционное воспитание тоже всегда ставит себе задачу в каждом единичном случае научить ребенка пониманию разницы между фантазией и действительностью, между правдой и ложью. К этому, конечно, нетрудно прибавить и различение между желаниями и действиями (а потом и высказыванием желаний). Ребенок, говоря вообще, существо восприимчивое и склонное к приобретению культурных навыков; поэтому нетрудно будет понять, что он может обо всем думать и все, что угодно, желать, но что только часть этого всего для него выполнима.

Впрочем, мне кажется, что всего этого не приходится особенно бояться. Воспитание без затруднений невозможно, и эти затруднения, действующие на ребенка скорее извне, явятся для него, несомненно, гораздо меньшим отягощением, чем те, что будут бессознательными, действуя изнутри. А если есть внутреннее убеждение в правильности всего дела, то несомненно поддадутся устранению и внешние трудности, как только накопится некоторый опыт. И я думаю также, что, благодаря раннему анализу, ребенок становится психически более крепким и гораздо легче и без вреда будет в состоянии перенести в дальнейшем неизбежное отягощение.

Может быть поставлен вопрос, действительно ли всякий ребенок нуждается в подобной поддержке? Ведь существуют же люди, совершенно здоровые, во всех отношениях превосходно развитые, и есть также и дети, не проявляющие невротических черт или преодолевшие их без всякого для себя вреда. Психоаналитические наблюдения, правда, заставляют нас сказать, что число взрослых детей, действительно отличающихся только-что указанными свойствами, сравнительно невелико. В своем „Анализе фобии пятилетнего мальчика“ Фрейд обстоятельно говорит о том, что полное осознание маленьким Гансом комплекса Эдипа не принесло ему никакого вреда и было только полезно. Фрейд полагает, что отличие этой фобии маленького Ганса от чрезвычайно частых фобий других детей только в том, что на фобию Ганса было обращено внимание. Дальше он говорит, что эта фобия „до известной степени дала преимущество Гансу, так как теперь он выгодно отличается от других детей своего возраста отсутствием того зачатка вытесненных комплексов, который всегда имеет какое-то значение для последующей жизни, предопределяя в той или иной степени неправильность в развитии характера, а иногда и создавая предрасположение к неврозу“. Фрейд говорит далее, „что нельзя провести резкой границы между нервными и нормальными детьми, что болезнь—только практическое суммирующее понятие, что предрасположение должно совпадать с известными переживаниями для того, чтобы был достигнут порог этой суммировки, что, вследствие этого, ряд индивидуумов постоянно перемещается из класса здоровых в класс нервно больных“ и т. д. В „Истории одного инфантильного невроза“ [1] он пишет следующее (на странице 690): „Мне возразят, что редкий ребенок не проделывает расстройств, на подобие скоропроходящей неохоты к еде или боязни тех или иных животных. Но этот аргумент я готов приветствовать. Я готов утверждать, что невроз взрослого человека всегда строится на неврозе его детства, а этот последний далеко не всегда достаточно интенсивен, чтобы обратить на себя внимание и быть распознанным в качестве такового“.

Итак, следовало бы обратить внимание на первоначальные неврастенические черты у большинства детей; но если мы

[1] См. вып. XXIII этой библиотеки.

захотим найти эти черты и устранить их, то мы необходимо должны придти к мысли о возможно более раннем аналитическом наблюдении, а по временам—и аналитическом вмешательстве. Я думаю, что в этом отношении можно установить нечто в роде следующей нормы: если в этом периоде, когда у ребенка начинает пробуждаться интерес к самому себе и окружающему, у него в то же время отмечается и пытливость по отношению к сексуальным вопросам и стремление к постепенному удовлетворению и разрешению этих вопросов; если ребенок не обнаруживает никаких задержек в проявлении этой любознательности и вполне принимает к сведению предлагаемое ему сексуальное просвещение; если он без задержек изживает часть своих влечений и специально эдиповский комплекс, в играх и фантазиях, если он, охотно слушая, например, сказки Гримма, не продуцирует потом страхов и вообще не теряет прочного душевного равновесия,—если все эти условия налицо, то можно не прибегать к раннему анализу, хотя, несомненно, и в этих случаях такой анализ мог бы принести только пользу, так как с его помощью могли бы быть устранены кое-какие задержки, от которых страдают (или страдали) даже очень хорошо развившиеся люди.

В числе признаков душевного здоровья ребенка в частности мною упомянуты сказки Гримма и уменье слушать их без страхов;—я сделала это, потому что из числа тех детей, которых я хорошо знаю, только очень немногие способны на это. Различные переработанные в более умеренном духе издания этих сказок возникли, повидимому, отчасти из стремления устранить вызывающий страхи элемент; по той же причине, вероятно, современное воспитание предпочитает другие сказки, менее страшные, т.-е. такие, которые не так резко затрагивают—и в смысле удовольствия и в смысле неудовольствия—вытесненные комплексы. Что же касается воспитания, пользующегося психоанализом, то, я думаю, что оно не только не должно избегать этих сказок, но может прямо даже пользоваться ими, как масштабом или вспомогательным средством. С их помощью легче удается обнаружить латентный страх ребенка, обусловленный вытеснением, после чего можно уже основательнее устранить его с помощью аналитической терапии.

Но как практически провести подобное воспитание с элементом психоанализа? Требование, чтобы психоанализу под-

вергались родители, воспитательницы детских садов и учителя, вполне обоснованное данными психоаналитического опыта, конечно, на долгие еще времена останется благим пожеланием. Но даже, если бы это требование было исполнимо, у нас все-таки была бы только гарантия в проведении ряда полезных мер, отмеченных нами в начале статьи, но отнюдь не возможность проводить ранний анализ. В этом направлении я хотела бы сделать одно предложение.

Проект этот, правда, является паллиативом, но все-таки в виде переходной меры, в ожидании иных времен и иных возможностей, он мог бы быть полезен. Я имею в виду устройство детских садов, во главе которых стояли бы воспитатели - психоаналитики. Не подлежит сомнению, что такой воспитатель, если он располагает несколькими инструктированными им помощницами, будет в состоянии так вести свое наблюдение над целой детской группой, что всегда будут своевременно отмечаться показания к аналитическому вмешательству, после чего тотчас же будет производиться самое вмешательство. Правда, против этого можно, между прочим, возразить, что в таком случае мы, отчасти, отнимем у матери ребенка в его самом нежном, в смысле душевных отношений, возрасте. Я думаю, однако, что ребенок выиграет при этом так много, что, в конце концов, и мать с лихвой сумеет вернуть себе все то, от чего ей, быть-может, и пришлось бы временно отказаться.

вергались родители, воспитательницы детских садов и учителя, вполне обоснованное данными психоаналитического опыта, конечно, на долгие еще времена останется благим пожеланием. Но даже, если бы это требование было исполнимо, у нас всетаки была бы только гарантия проведения ряда полезных мер, отмеченных нами в начале статьи, но отнюдь не возможность проводить ранний анализ. В этом направлении я хотела бы сделать одно предложение.

Проект этот, правда, является паллиативом, но все-таки в виде переходной меры в ожидании иных времен и иных возможностей, он мог бы быть полезен. Я имею в виду устройство детских садов, во главе которых стояли бы воспитатели - психоаналитики. Не подлежит сомнению, что такой воспитатель, если он располагает несколькими инструктированными им помощницами, будет в состоянии так вести свое наблюдение над целой детской группой, что всегда будут своевременно отмечаться показания к аналитическому вмешательству, после чего тотчас же будет производиться самое вмешательство. Правда, против этого можно, между прочим, возразить, что в таком случае мы отнимаем у матери ребенка в его самом нежном, в смысле душевных отношений, возрасте. Я думаю, однако, что ребенок выиграет при этом так много, что в конце концов и мать с лихвой сумеет вернуть себе все то, от чего ей, быть может, и пришлось бы временно отказаться.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

15 руб

Цена 75 коп.

